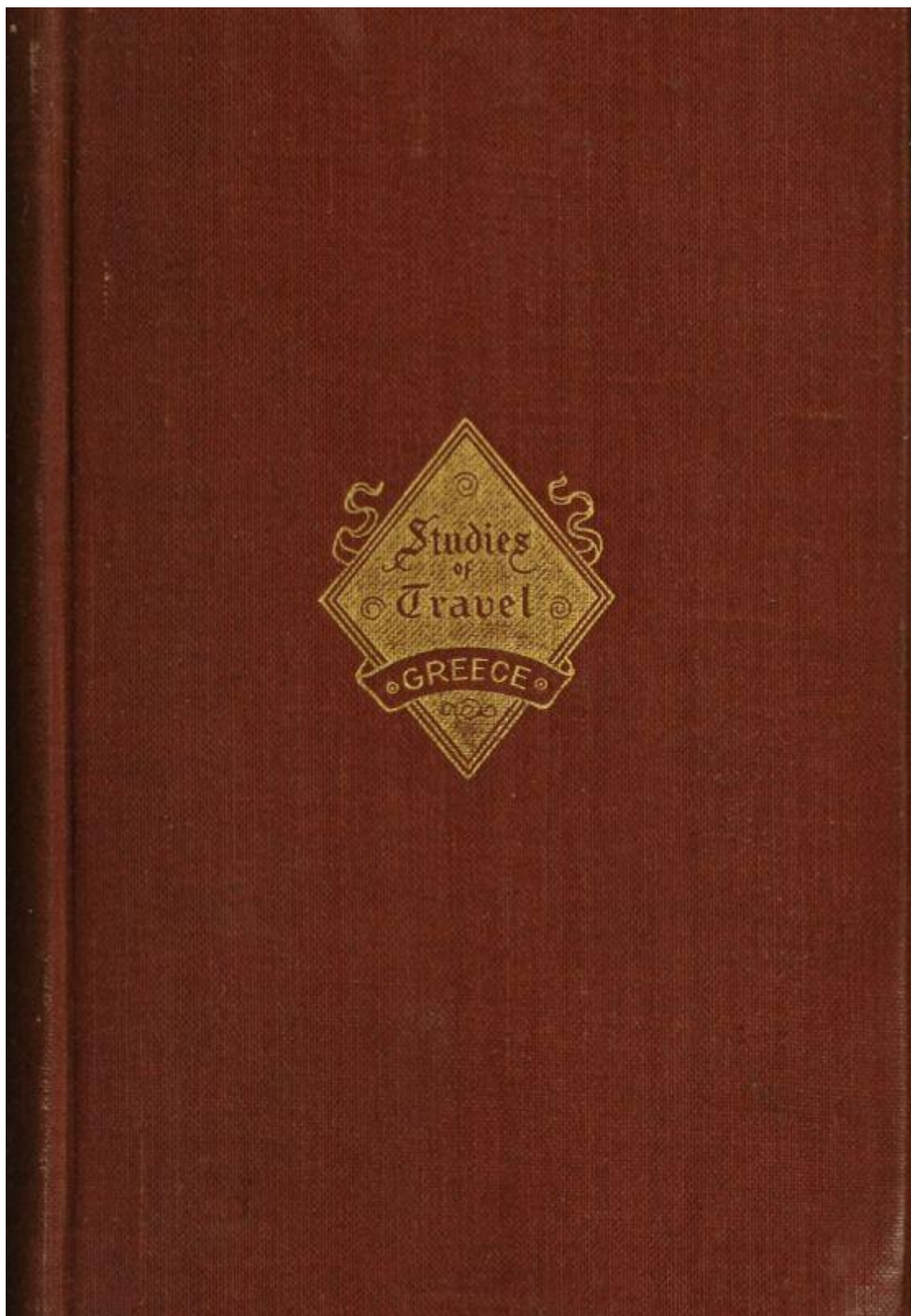


Исследования путешествий. Греция

Эдвард А. Фримен



Электронная книга проекта "Гутенберг" по изучению путешествий: Греция

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и в большинстве других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Исследования путешествий: Греция

Автор: Эдвард А. Фримен

Дата выхода: 14 марта 2014 г. [Электронная книга № 45132]

Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено К. Д. Уиксом, Греггом Бергквистом и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом / Канадскими библиотеками)

*** ЗАПУСК ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK STUDIES OF TRAVEL: ГРЕЦИЯ ***

Примечание переписчика

Пожалуйста, ознакомьтесь с примечаниями переписчика в конце этого текста для более полного описания любых других текстовых проблем и их решения.

Греция

Парфенон

Юго-западный угол



По рисунку, сделанному Х. У. Уильямсом в 1829 году

Исследования путешествий

Эдвард А. Фримен

Греция

“В ЖИЗНИ ГОРОДОВ НИЧТО ТАК НЕ СОХРАНЯЕТ, КАК РАННЕЕ РАЗРУШЕНИЕ, НИЧТО ТАК НЕ
РАЗРУШАЕТ, Как НЕПРЕРЫВНАЯ ЖИЗНЬ”. —С. 120

СЫНОВЬЯ Г. П. ПАТНЭМА

НЬЮ - ЙОРК

Западная 23 -я улица, 27 и 29

ЛОНДОН

Бедфорд-стрит, 24, Стрэнд

Издательство " Никербокер Пресс "

АВТОРСКОЕ ПРАВО, 1893

Г. П. СЫНОВЬЯ ПАТНЭМА

Введено в Stationers' Hall, Лондон

Г. П. Сыновья Патнэма

Электротипирован, отпечатан и переплетен издательством Knickerbocker Press, Нью-Йорк
G. P. Putnam's Sons

ПАМЯТИ МАРГАРЕТ ЭВАНС, СПУТНИЦЫ ЕЕ ОТЦА В ГРЕЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ, АВТОРА ЭТИХ
СТАТЕЙ, ЭТОТ ТОМ ПОСВЯЩАЕТ ЕЕ СЕСТРА

Предисловие

Документы, собранные в эти небольшие тома, являются результатами трех поездок, совершенных моим отцом в Грецию и Италию. Впервые он посетил Грецию в 1877 году, но из статей, написанных в том году и появившихся в *Saturday Review*, были перепечатаны только статьи о Корфу. Они составляют часть сборника очерков о подвластных и соседних землях Венеции, в предисловии к которому была выражена надежда, что некоторые из многих работ о более отдаленных греческих землях однажды могут быть собраны воедино. Считалось, что эти документы не окажутся менее желанными из-за того, что теперь им, должно быть, не хватает той переработки, которую, несомненно, дал бы им мой отец. С тех пор как он совершил греческое путешествие, новый свет на многие моменты был пролит немецкими раскопками в Олимпии, а также раскопками, проведенными самими греками на афинском Акрополе, в Элевсине и в других местах.

Статьи о двух итальянских журналах 1881 и 1883 годов также остаются в том виде, в каком они были написаны, за исключением нескольких словесных изменений, которые показались необходимыми при таком воспроизведении того, что изначально предназначалось для газетных колонок.

Я должен поблагодарить редакторов *Saturday Review*, *the Guardian* и *Pall Mall Gazette* за их любезность, позволившую перепечатать эти статьи, появившиеся на их страницах.

Флоренс Фримен,

Аликанте:
17 января 1893 года.

Содержание

СТРАНИЦА

Вокруг Пелопоннеса

1

Афинский Акрополь	16
Афины Под Акрополем	32
Марафон	52
Саронический залив	68
Тиринф	85
Аргос	106
Микенский Акрополь	122
Сокровищницы Микены	140
От Микены до Коринфа	162
Коринф	183
Коринфский залив	202
От Коринфа до Элевсина	220
Сунион	239
Олимпия и ее церковь	257

Вокруг Пелопоннеса.

Путешественник, который попадает в древний эллинский мир через Корфу и покидает этот остров вечерним пароходом, проснется на следующее утро в регионе, который даже современная география и политика допускают считать полностью эллинским. Пока свет служит ему, он все еще держится канала, который отделяет свободный Корфу от порабощенного Эпейроса; ночь отрезает его от вида устья Амбракийского залива и того места, где современная дипломатия постановила, что греческому гражданству, насколько дипломатия может влиять на такие вопросы, приходит конец. Рассвет следующего утра застает его у устья внешнего Коринфского залива. На востоке ему показано расположение, с одной стороны, Патр, старого ахейского города, который святой Андрей тысячу лет назад так мужественно защищал от рабов и сарацин, с другой стороны, Месолонги, слава которого полностью принадлежит нашим дням. Мы вспоминаем две осады — одну, когда гражданский Маврокордатос, единственный герой, которого аристократия фанариотов отдала на благо Греции, отбросил османскую империю от ее глинобитных стен; другую, еще более прославившуюся той страшной вылазкой осажденных, когда, подобно жителям Итоме или Эйры, они прорубали себе путь сквозь самые толстые штыки египетских захватчиков. Возможно, найдутся люди, для которых рассказ об этих великих деяниях неизвестен, но которые, возможно, все же помнят, какими Месолонги видел последние и самые достойные дни жизни Байрона. Однако о Патрах и Месолонги мы имеем лишь отдаленное представление; нам сказали, где они находятся, и это все. Кроме того, на какое-то время само побережье Пелопоннеса стало более отдаленным и менее привлекательным, чем острова к западу от него, которые в настоящее время являются не меньшей, чем сам Пелопоннес, частью эллинского царства. Тем не менее, мы можем помнить, что, когда мы

проходим мимо Элейского берега — Βουπράσιόν τε καὶ Ἴλιδα δῖαν, в то время как нам показывают, где лежит путь в Олимпию, сейчас мы проходим мимо истинной *Мореи*, земли, которая когда-то отчетливо носила это название, прежде чем оно постепенно распространилось на весь полуостров. Материк нас пока почти не привлекает. Едва рассвет уступил место полному солнечному свету, как мы видим, как Итаке исчезает вдаль, в то время как Кефалленния возвышается перед нами во весь свой смелый рост. Половина "Одиссеи" врезается в нашу память, и память некоторых, возможно, достаточно английская, чтобы вспомнить счастливое описание нашего собственного Эльфреда, как Ауликс — его форма *Одиссея* — был царем двух царств, Итаки и чего-то еще, которыми он владел под *именем* Агамемнон. Счастливая способность видеть аналогии между институтами своего времени и институтами отдаленных эпох позволила западно-саксонскому королю, который в детстве видел Рим, принцу, при котором английские, валлийские и датские правители управляли своими королевствами, понять имперское положение повелителя многих островов и всего Аргоса, возможно, лучше, чем это было понято до тех пор, пока свет сравнительных исследований не пролился на нашу эпоху. Мы проходим мимо, надеясь на какой-нибудь будущий шанс проникнуть в географические трудности гомеровской Итаки, но, во всяком случае, чувствуя, что это волнующий момент, когда мы смотрим на острова, которые легенда, по крайней мере, рисует нам как царство Одиссея, и при виде которых мы можем извлечь урок сравнительной политики от благороднейшего правителя нашего собственного народа.

Тем не менее островная сторона более заметна, чем полуостровная. Закинф, Занте, остров цветов, цветков Леванта, не играет большой роли в истории Греции, но по мере того, как высота Кефалонии проходит, прекрасный остров с его холмами, долинами, городом, раскинувшимся вдоль берега и взбирающимся по склону горы, становится главным объектом, привлекающим к себе внимание, пока он остается в поле зрения. Только после того, как мы миновали изгиб Кипарисского залива, только после того, как мы миновали большие острова, само побережье становится главным объектом изучения. Для изучения это необходимо, будь то география, история или простое созерцание величественной береговой линии с возвышающимися надо всем внутренними горами, меняющими свое кажущееся географическое положение в зависимости от различных изменений курса судна. Заснеженная вершина Пентедактилоса, некогда Та гетос, возвышается над всем, видимая с этой точки и с той, но всегда наводящая на одну и ту же мысль и обычно приводящая при упоминании об одном и том же ответе — там находится Спарта. Очертания южного Пелопоннеса хорошо подходят для съемки с берега такого рода. Три длинных пальца, которыми заканчивается полуостров, и два глубоких залива между ними позволяют видеть всю страну как на карте, а также позволяют большинству объектов быть видимыми с нескольких точек и, следовательно, принимать несколько форм. От Занте до Кериги — название, которое вряд ли можно назвать искажением, но которое, должно быть, каким-то образом вытеснило более раннее название Китера, — береговая линия — это все. Островов там немало, но это небольшие островки недалеко от побережья, вписывающиеся в общий пейзаж побережья, и, какими бы близкими они ни были, некоторые из них, как и сам Кериги, были частью владений Венеции и держав, которые пришли на смену Венеции. На любой карте, составленной ранее передачи Ионических островов Греции, будет показана граница, проходящая между побережьем и несколькими островами, которые, кажется, находятся в двух шагах от него. Вдоль всей линии обладатели материка, сначала османские, затем греческие, были окружены и как бы блокированы рядом плавучих аванпостов,

установленных у их берегов сменявшимися друг друга владельцами Семи островов. Используя карту времен "Покровительства", можно ошибочно принять странного вида границу, проведенную в море, за вероятный курс парохода. Теперь граница исчезла; большие острова и прилежащие к ним островки составляют часть того же королевства, что и материк. Теперь все они эллинские во всех смыслах этого слова, но самый поразительный объект в путешествии заставляет вспомнить, насколько недавним и искусственным является современное использование эллинского названия. Тайнарос впадает далеко в море, как это было, когда храм Посейдона венчал его высоту, и когда беженец-илот искал убежища под его защитой у своего спартанского хозяина. За ним возвышается Пентедактилос, или, скорее, Тайнарос увлекает Пентедактилос в море. Все жители тех высот называли себя элленами в старые времена, и все называют себя элленами сейчас. Но в те промежуточные времена, которые рисует для нас имперский географ, название Эллен было ограничено действительно очень узким кругом. Единственными эллинами, которых знал Константин, единственными людьми, которых так называли их соседи — поскольку они, похоже, не носили этого имени на своем родном языке, — были жители Тайнароса, дикой и, почти до наших дней, непобедимой земли, которая в его время уже получила название Майна. Они, как он многозначительно сообщает нам, не были рабами, что отличает их от их славянских соседей на самом Пентедактилосе. Их называли эллинами, но называли их так не в отличие от рабов. По его словам, они были потомками древних римлян. Пусть никому не снятся колонисты с Палатина или даже с Авентина. "Древние римляне" Константина - это те, кого мы должны называть греками, эллинами, в данном конкретном случае элевтеролаконами, жителями лаконских городов, освобожденных под римским покровительством от своего подчинения Спарте. Римлянин, подданный Империи, отличается от Раба, но именно эти римляне носили эллинское имя, потому что они или, по крайней мере, их непосредственные предки были приверженцами эллинских богов. В конце девятого века, пока апостольское рвение Василия первого не привело их в лоно христианства, жители Майны все еще приносили жертвы Посейдону и другим богам своих отцов. Таким образом, они были Эллинами, Эллинами в том смысле, который это название носит в Новом Завете, Эллинами в том смысле, в каком Иовиан Коркирский разграбил храмы и алтари Эллинов, чтобы воздвигнуть церковь Панагии. Нет более поучительного термина, чем этот. Имя Хеллен было бы оскорблением для ортодоксального римлянина чистейшей эллинской крови. Она прилепилась к жителям Тайнароса только потому, что они прилепились к эллинским идолам. Тем не менее, будь то Элеутеролаконы, Хеллены или майноты, жители Тайнароса на протяжении многих веков носили собственное имя.

Однако до самого исторического места за все путешествие мы добираемся незадолго до того, как прибываем в Тайнарос. Пентедактилос, особенно славянская гора времен Константина, наводит на мысль о ее эллинских соседях, и Пентедактилос появляется в поле зрения еще до того, как мы обогнем первый из трех великих Пелопоннесских мысов. Среди островов, расположенных вдоль побережья, есть один, который на первый взгляд вряд ли можно назвать островом. Сфагия пристально следит за гаванью Наварино — следит так пристально, что приходится пройти всю длину Сфагии, прежде чем мы увидим узкий вход, ведущий в гавань, не имеющую выхода к морю, где произошло последнее великое морское сражение в водах Греции. Сфагия находится там; Наварино находится там; но некоторые осмелились усомниться, является ли Сфагия Сфактрией, а Наварино - Пилосом. Некоторые считали, что из-за изменений побережья то, что было Сфактрией, теперь стало частью материка, и что остров, который мы сейчас видим, - это не тот остров, где Спарта пережила свое первое великое

унижение, где Клеон и Демосфен, несмотря на все ожидания, на все кажущиеся невозможными, с триумфом вернули “людей”, спартанских пленников, в гавань Пейрея. Подобные вопросы не могут быть решены тем, кто видит сайты только в том виде, в каком сила пара гонит его вдоль них. С этой общей точки зрения вопрос не имеет большого значения. Есть побережье, каким бы ни было точное место, где, по легенде, Нестор развлекает Телемаха, и откуда Телемах и Писистрат за два дня проехали в экипаже на паре из Пилоса в Спарту. Теперь, независимо от того, являются ли Телемахос и Писистратос настоящими людьми или просто порождением фантазии, дорога, по крайней мере, не является порождением фантазии. Поэт не осмелился бы заставить своих героев совершить подобную поездку, как нечто совершенно легкое и обыденное, если бы в его время Пелопоннес не был лучше обеспечен дорогами, чем в наши дни. Таким образом, мы получаем из легенды своего рода историю. Это снова побережье, каким бы ни было точное место, где произошел самый замечательный эпизод пелопоннесской войны, оккупация Пилоса - Лакедемонянский корифасион - и все, что из этого вышло. Обладая еще более точным знанием точного места, мы можем указать на гавань, где были разбиты греческие оковы и где могущество турок и египтян пало перед объединенными силами православной России, католической Франции и протестантской Англии.

Мы переходим от мыса к мысу, заливы принимают разные формы и в каждый момент открывают вид на разные объекты. Наконец

Медленно тонет, еще прекраснее, пока его работа не закончена,

За холмами Мореи виднеется заходящее солнце.

Пентедактилос и Тайнарос освещены, поскольку солнце, по греческому выражению, царит (βασιλεύει) над небесами, с которых оно вот-вот опустится в свою золотую чашу. Кериги и Малеа видны только при помощи меньших огней, но мы все еще можем видеть длинное, лишенное гаваней побережье Лаконии, простирающееся до земель Арголии, и мы также обнаружили место расположения лаконского Эпидавра, более известного в более поздние времена как Монембазия. Как однажды утром мы проснулись на островах Запада, так и на следующее утро мы просыпаемся на островах Эгейского моря. Тенос, Андрос, Миконос, Мелос, Наксос, сам Делос открываются в поле зрения с разных точек, пока мы не оказываемся перед гаванью, которая в наше время превратилась в центр торговли и судоходства в этих морях. Остров Сирос стоит перед нами, унылый и бесплодный. Вот крутой конический холм, покрытый домами до самого верха, вплоть до церкви Святого Георгия, кафедрального собора Латинской Сиры, средневекового города, города-убежища в те дни, когда люди были вынуждены отступить к городам-крепостям древнейших времен. На берегу, на месте древнего Сироса, но раскинувшись на прилегающих холмах, находится современный Эрмуполис, оживленный рынок всех островов. Еще одна ночь, прекрасная звездная ночь, на глубине, и мы достигнем цели всего паломничества. День едва забрезжил настолько, чтобы можно было ясно разглядеть Сунион и его мраморные колонны, но там, как бы смутно ни виднелся берег Аттики, и приходит мысль, которая приходила в сердца моряков Саламинского Айаса, что вскоре

προσείποι' αὐτὸς Ἀθήνας.

Афинский Акрополь.

Может показаться, что нелегко сказать что-либо новое по такому избитому предмету, как Афины и их Акрополь, но из всех предметов в мире нет ни одного, на который более пристально смотрели бы с единственной неадекватной точки зрения. Более того, это предмет, история которого еще не закончилась и который предлагает новые точки зрения благодаря тому факту, что новые страницы в его истории все еще происходят. Нигде единство истории не нуждается в преподавании в качестве практического урока так сильно, как в том месте, где, мы можем справедливо сказать, начинается политическая история мира. Там, на месте, история которого начинается до начала письменной истории, мы, возможно, острее, чем где-либо еще, чувствуем, насколько слепым и узким является подход, которым так часто рассматривалась история этого места, насколько большая часть истинного интереса, истинной жизни этого места теряется, если мы смотрим только на какие-то два или три столетия его долгой и разнообразной истории. В городе Афины в целом нас болезненно поражает вопиющий контраст крайней древности и крайней новизны. Есть здания вчерашнего дня; есть здания тысячелетней давности; есть здания двухтысячелетней давности, но эти три класса резко и действительно неприятно контрастируют друг с другом. Здесь нет промежуточных звеньев, подобных тем, что есть в Риме, связывающих большие классы объектов воедино и заставляющих их все уместиться на своих местах как члены одного непрерывного ряда. Следовательно, в то время как в Риме мы никогда не забываем, что мы в Риме, в Афинах мы иногда можем забывать, что мы в Афинах, Так что это не вина афинян, старых или новых. Это происходит из того факта, что турок когда-то правил в Афинах и, следовательно, должен был быть изгнан из Афин; в то время как, поскольку турок никогда не правил в Риме, его никогда не нужно было изгонять из Рима. Если это верно для города в целом, то в гораздо меньшей степени это верно для Акрополя. Там мы никогда не сможем забыть, что находимся в Афинах; и, если мы правильно используем наши глаза, мы никогда не сможем забыть, что Афины, в которых мы находимся, не существовали, как некоторые, кажется, воображают, всего два или три столетия две тысячи лет назад, но что их долгая история охватывает весь диапазон от наших первых проблесков цивилизованной Европы до войны, в которой приняли участие люди, живущие до сих пор. Это всего лишь узкий взгляд на Афинский Акрополь - смотреть на него просто как на место, где великие произведения эпохи Перикла можно увидеть в качестве музейных образцов. Более истинное и широкое видение начнется раньше и продолжится позже. Парфенон и Пропилеи - это всего лишь свидетельства одного этапа, хотя, несомненно, самого блестящего этапа в истории города, который в равной степени должен числить среди своих памятников первобытную стену, которая была почтенной и таинственной во времена Фукидида, и бастионы, воздвигнутые последним Одиссеем в войне с турецким угнетателем. В глазах истинного историка все эти самые ранние и самые поздние записи, а также записи о долгих веках, прошедших между ними, имеют, возможно, не все равную ценность, но, по крайней мере, достаточную, чтобы считать их одинаковыми частями истории города, одинаково заслуживающими уважения со стороны каждого, в чьих глазах драгоценна история города. На холме Акрополя и его зданиях была ясно написана вся история Афин, с самых ранних до последних дней, и там ее все еще можно ясно прочесть везде, где варварство классического педантизма не стерло летопись. Первобытная стена, стена Фемистоклеса, стена Кимона - все они относятся к зачарованному периоду. Вряд ли кто-то сможет повредить их. Однако нужен более широкий взгляд, чем у простого изучающего труды, простого почитателя искусства двух

или трех произвольно выбранных столетий, чтобы постичь полный смысл даже произведений этих произвольно выбранных столетий. Те остатки древнейшей каменной кладки, которые мы должны искать за великими зданиями времен демократии, те камни, которые могут соперничать с чем-либо в Аргосе или Тиринфе, могут рассказать историю, которую Аргос и Тиринф рассказать не могут. Почему Афины стали Афинами? Как получилось, что этот город занял такое особое место в мировой истории, которое никогда не занимал ни один другой город? В гомеровском каталоге Афины стоят особняком; вся Аттика уже является Афинами, в то время как любая другая часть каталога заполнена названиями тех небольших городов, многие из которых исчезли до того, как началась письменная история. Марафону и Элевсину нет места в великой летописи. Работа уже была сделана, будь то имя ее исполнителя Тесей или любое другое, которая сделала Афины всем, чем были Афины - которые объединили в одно содружество самую большую территорию, самое большое количество граждан, которые, согласно греческим политическим идеям, могли действовать сообща как члены единого содрущества. Афины могли стать всем, чем она стала, потому что в незаписанную эпоху, о которой, по крайней мере, свидетельствуют эти грубые камни, вся Аттика стала Афинами. Этой великой революции, тем не менее несомненной, потому что по своей природе она не зафиксирована, она в равной степени обязана тем, что Афины в одну эпоху смогли поднять трофей Маратона, а в другую ее избрали главой возрожденной Греции. Древнейшая стена — мы можем назвать ее стеной Тезея — и новейшая стена Одиссея - всего лишь самые ранние и поздние страницы одной истории, связанные воедино прямой причинно-следственной связью.

Итак, если для того, чтобы полностью осознать историческое величие афинского Акрополя, мы должны обратиться к фактам и их записям, как гораздо более ранним, так и гораздо более поздним, чем времена Перикла, то произведения времен Перикла теряют половину своей ценности, если мы смотрим на них просто как на произведения эпохи Перикла и не принимаем во внимание долгие века и волнующие события их более поздней истории. Дом Атене - это, безусловно, *Парфенон*. Когда Деметриоса Осаждающего поселили в его *опистодомосе*, было сделано сатирическое замечание, что он и его последователи ни в коем случае не были подходящими гостями для его девственного владельца. Следует, однако, помнить, что этот древний храм остался домом Пресвятой Богородицы при трех различных формах богослужения. Классический пурист мог бы пренебречь замечанием — или, если бы он заметил, он мог бы стремиться стереть такое воспоминание, - что на стенах *целлы* все еще можно увидеть картины, *εἰ κόνης* другого вероучения, другой формы искусства, отличной от картин Фидия и Иктиноса. И все же эти раскрашенные формы рассказывают нам об одном из величайших моментов в истории Юго-Восточной Европы - скорее, об одном из величайших моментов в истории мира. В нем говорится о том дне, когда Новый Рим снова стал царем всех народов, от Крита до Дуная, от Евфрата до Неаполитанского залива, когда Победитель болгар в момент своего триумфа выбрал из всех святых мест своей Империи церковь Панагии на Афинской скале в качестве сцены благодарения за великое спасение, совершенное его руками. Мы стоим на скале и перебираем в уме долгие века между возвращением Перикла с Самоса и возвращением Василия с Охриды. Мы смотрим сверху вниз на земли, которые подверглись опустошению последнего Филиппа во имя Рима, на город, который выдержал штурм Суллы во имя Митридата. Мы смотрим вниз на работы Адриана и Хередеса, и взгляд блуждает по тому месту, где памятник сирийскому принцу является самым заметным объектом на афинском холме. Мы думаем о том, как долго Афины оставались школой Рима, как готы отвернулись от ее стен, как Юстиниан сразу укрепил ее как крепость и отнял у нее корону как средоточие языческой философии и языческого

богослужения. Тем не менее, мы отмечаем небольшое сохранение древних воспоминаний, которые, вновь посвящая свои древние храмы новой вере, все еще сохраняли определенную аналогию между их старыми и новыми функциями. Мы отмечаем, что Парфенон все еще оставался Парфеноном; как храм языческого воина Тезея стал церковью христианского воина Георгия. Мы думаем — Афины прямо не упоминаются в рассказе, но вряд ли можно считать, что они отстали от своих братьев, — о том, как греки, Ἀλλὰδικοί, как презрительно называет их византийский писатель, приступили к своему странному и бесполезному делу освобождения Константинополя от правления исавров и иконоборцев. Под нами раскинулись церкви Эйрене, памятники тех дней, когда Афины и Константинополь были объединены общим православием, когда Афины подарили восточному миру Императрицу, и когда люди снова мечтали о союзе Востока и Запада посредством брака афинянки и франка. Все эти воспоминания естественным образом приводят к великой сцене дня триумфа Василия, когда принц, которого можно было считать одновременно римлянином, греком и рабом, выбрал Афины и ее все еще пребывающий Парфенон для величайшей церемонии своего долгого военного правления и победы. Мы переходим в другую эпоху. Дух, который вряд ли вынесет воспоминание о грекоязычном цезаре на священном холме Афины, найдет времена еще менее приятными, когда итальянский принц в своем завещании, составленном на итальянском языке, завещает город Афины церкви Святой Марии. Все действительно изменилось, как со времен Перикла, так и со времен Василия, и все же Афины при французских и итальянских герцогах в некотором роде вернулись ближе к своему древнему месту, чем когда они проводили день благодарения македонскому императору. Афины, носившие это название, снова были одной из мировых держав, а не просто провинцией Рима, будь то в ее старом или новом месте. Это действительно было время иностранного правления. Латинский герцог построил свой дворец в Пропилях Периклеса; латинский епископ заменил православный обряд дня Василия Блаженного в церкви, которая все еще была Парфеноном. И все же это были дни, когда Афины были резиденцией блестящего двора, когда слава о ее принцах распространилась по всей Европе. Формула нашего собственного Шекспира, столь странная для ушей многих, когда он говорит о Тезее, герцоге Афинском, является приметой тех дней, когда ее короли и архонты были забыты, но память о ее герцогах все еще жила в умах людей. Но бессмысленное варварство классической исключительности не выдержит ни памяти, ни летописей, ни памятников таких дней, как эти. Только вчера стояла башня герцогов Афинских. Его суровая и тяжелая масса хорошо нарушала горизонтальные линии греческой архитектуры и придавала всей группе несколько тех очертаний, которые есть у холма Лаон и которых нет у холма Афин. Но башня была построена поздно; это было варварство; она не принадлежала к двум или трем привилегированным эпохам; это было напоминание о временах, которые исключительные приверженцы этих двух или трех привилегированных эпох хотели стереть из истории человечества. Мистер Махаффи, действительно, который не может провести различие между взятием Константинополя в 1204 году и взятием Афин в 1687 году, полагал, что Морозини нашел время построить эту массивную башню за несколько недель своего пребывания в должности. Мистер Махаффи, который считает Акрополь настолько священным, что было грехом бомбардировать его, даже изгнать турок из него, — который, кажется, считает свободу и национальность чем-то менее важным, чем сохранение той или иной статуи или колонны, — призывает к его разрушению в своем тексте и ликует по поводу его окончательного разрушения в примечании. Вина за этот образец бессмысленного варварства лежит на докторе Шлимане. Мы воздержались спросить, кто были его греческие сообщники, если таковые вообще были. Но башня исчезла; самый поразительный памятник одной эпохи в истории Афин был сметен под ничтожным предлогом того, что среди ее материалов могли быть

найжены надписи. Клянусь праведным Возмездием, когда разрушители закончили свою работу по разрушению, они не нашли ничего, что могло бы вознаградить их.

Мы не можем представить себе ничего более ничтожного, ничего более узкого, ничего более противоречащего истинному духу науки, чем эти попытки стереть с лица земли историю любой эпохи. Так что вместо того, чтобы разрушить герцогскую башню, мы бы сохранили турецкий минарет. Ибо Парфенон, уже бывший храмом язычества и двух форм христианства, в конце концов стал храмом ислама. У мечети, конечно, был свой минарет. Его нижняя часть все еще сохранилась в виде лестницы, но характерная верхняя часть исчезла. Мы не знаем, как он исчез, то ли в результате бессмысленного разрушения, то ли во время одной из осад семнадцатого или девятнадцатого века. В любом случае, нам было бы очень приятно увидеть, как минарет и башня нарушают очертания и говорят о днях, которые были, но которые ушли в прошлое. Греция свободна; правление как франка, так и турка ушло в прошлое; но это не причина, по которой памятники ни Франку, ни Турку должны быть уничтожены. Более высокое национальное чувство бережно хранило бы их как победные трофеи. Во всяком случае, пусть люди, называющие себя учеными, не поддаются таким бессмысленным разрушениям. Имя Морозини несправедливо предано проклятию, потому что военный случай, который он не мог контролировать, сделал его разрушителем Парфенона. Гораздо более тяжкая вина лежит на тех, кто был преднамеренными разрушителями герцогской башни. На них действительно вполне могут обрушиться слова испепеляющего презрения, в которых Байрон так удачно соединяет уничтожающие имена Эратостратоса и Элджина.

Афины под Акрополем.

Главная характеристика современных Афин и одно из главных их отличий от Рима заключается в том, что все, что не очень старо, является очень новым. Но посетитель склонен сразу же настаивать на этой характеристике дальше, чем того требует строгая истина, и проводить более четко обозначенную географическую границу между старым и новым, чем того требует строгая истина. На первый взгляд мы склонны воображать, что все старое находится наверху, а все новое - внизу. Тот факт, что величайшее творение из всех, храм Зевса Олимпийского, находится внизу, вряд ли является практическим исключением. Из-за утраты стольких своих колонн он перестал казаться величайшим произведением искусства из всех, и, что более важно, практически перестал быть частью города. Он находится снаружи и одинок, отдельно как от Акрополя, так и от современного города. Он действительно соединяется, создавая один из лучших и наиболее знакомых видов Акрополя, но соединяется только как передний план с удаленным объектом. Если воспользоваться иллюстрацией мистера Махаффи, то он стал примыкать к Акрополю так же, как аббатство Хоар примыкает к Скале Кашел. С другой стороны, Тезейон, в своем абсолютном совершенстве, каким он виден при любом общем взгляде, выступает своего рода промежуточным звеном между верхней и нижней областями. В остальном общий вид Афин производит впечатление, что все старое находится наверху, поскольку, за одним или двумя исключениями, на которых нет необходимости останавливаться, новое, несомненно, находится внизу. Акрополь, по-видимому, выделяет холм Мусейон с

памятником Филопаппоса как своего рода внешнюю постройку; и, если мы рассмотрим объекты, которые невозможно увидеть с первого взгляда, то самые замечательные и почитаемые объекты, остатки древних стен, вырубленные в скале гробницы, сиденья Пникса, ступени на холме Арес, все находятся на верхней площадке. На их фоне, если не считать совсем недавних раскопок, нижнему городу, кажется, нечего противопоставить, кроме массы современных и уродливых домов и одного современного дома, большего и уродливее остальных.

Это впечатление не является ложным в отношении общего вида города, но оно рушится, когда мы подходим к более детальному рассмотрению вещей. В современном городе Афины больше античности, чем кажется на первый взгляд; тем не менее, сравнительная редкость древних руин и сильный контраст между теми, что там есть, и современными зданиями образуют отличительную черту характера Афин, в отличие от городов, которые представляют нам непрерывный ряд памятников от более ранних времен до новейших. Опять же, верно, что из тех древних развалин, которые здесь есть, большая часть, кажется, как бы укрывается в тени Акрополя, и лишь немногие из них относятся к самым блестящим временам афинской истории. Тезейон, являющийся связующим звеном между верхним и нижним городом, имеет свое собственное положение. Самый совершенный из существующих греческих храмов, он сам по себе мог бы сделать Афины местом художественного паломничества, даже если бы там больше нечего было видеть. На первый взгляд он кажется абсолютно совершенным. Единственное небольшое изменение, которому он подвергся, напоминает нам одновременно о живой странице истории и о безумии тех, кто напрасно трудится, чтобы стереть историю с лица земли. Храм, как и его более крупный собрат на Акрополе, стал церковью, но в своем новом облике он все еще сохранял определенное подобающее воспоминание о своем прежнем использовании. Как дом Богородицы по-прежнему оставался домом Богородицы, так и дом героя-воина оставался, как и церковь Святого Георгия, домом святого воина. Если, как говорят некоторые, древнее посвящение действительно было не Тезею, а Хереклесу, то параллель никоим образом не ослабевает, а скорее усиливается. Тезей действительно победил марафонского быка; но Херекл и Святой Георгий одинаково одержали победу над драконами. Чтобы приспособить здание к его новому использованию, похоже, никаких изменений не потребовалось, за исключением демонтажа двух колонн внутреннего ряда восточного фасада, чтобы освободить место для апсиды переоборудованной базилики. Каприз поколения назад снес апсиду, не восстановив колонн, и таким образом оставил здание в состоянии, которое показалось бы незавершенным ни в глазах его языческих, ни в глазах христианских покровителей. Тезей мог бы попросить свои колонны; Георгий мог бы попросить свою апсиду; и обычному грабителю и того, и другого было бы трудно получить ответ. Сейчас, как один из многих отдельно стоящих музеев Афин, Тезейон содержит коллекцию скульптур, надписей и архитектурных фрагментов, выдающимся среди которых является архаичная статуя работы Аристиона, которая так неприятно напоминает образец варварского искусства. И все же, почему мы не можем считать, что в скульптуре, как и во многих других вещах, сходство доказывает не прямую связь, а просто аналогию сцены? Во всяком случае, Ассирия никогда не создавала ничего лучше, чем работа Аристиона, в то время как Афины шли дальше и выросли из стадии Аристиона в стадию Фидия.

До раскопок в Керамейкосе, которые выявили такие отборные скульптуры, а также большую часть городской стены и Дипилонские ворота, Тезейон стоял почти одиноко как представитель великих дней Афин на земле ниже Акрополя и холмов, которые перед ним возвышаются. Театр Диониса и другие здания, которые были раскопаны на склоне холма, скорее являются частью

самого Акрополя. Храм Зевса Олимпийского и его слабый спутник, Арка Адриана, стоят особняком и сами по себе составляют слабую компанию. Однако в той части современного города, которая находится ближе всего к Акрополю, у нас все еще есть коллекция остатков более поздних греческих и римских времен, в то время как те византийские церкви, которые остались разбросанными тут и там по городу, представляют удивительный интерес в своем классе. Всему миру известен памятник Лисикрата и более поздний *хронологион* Андроникоса Киррестеса, более известный как Храм Восьми ветров. Возможно, весь мир не знает, каким странным образом они были приспособлены к использованию конкурирующих вероучений, как францисканские монахи нашли приют под изящным коринфским навершием Лисикрата, в то время как воюющие дервиши расквартировались под языческими символами Андроника. Мы скорбим, глядя на изящную игрушку Лисикрата, родоначальника целого класса сооружений в Сен-Реми и Игеле — разве это кощунство добавлять Нортгемптон, Геддингтон и Уолтем? Подлинные греческие коринфские капители настолько редки, что грустно видеть, что ни одна из них не является полностью совершенной.

The *Хорологион* Андроника — если позволительно так свободно говорить о чем-либо, построенном в Афинах до христианской эры, — никогда не казался нам чем-то особенно изящным, но это одно из звеньев, непосредственно соединяющих древний и современный город. Он стоит на том, что мы могли бы назвать древним концом одной из больших современных улиц, которая, по-видимому, представляет собой древнюю улицу и которая из-за этого памятника носит название Айолос. Но квартал, где *стоит* хрологион, является одним из кварталов, где эти более поздние и менее значительные памятники старины расположены наиболее плотно на земле. Неподалеку находится *Стоа* Адриана, где императорский архитектор, отказавшись от моды своего времени, пытается, подобно нашим современным архитекторам, вызвать формы прошлого и воспроизвести древний дорический стиль, конечно, в более тонкой форме. Но весь этот квартал полон останков того или иного вида. Базар во всех смыслах является связующим звеном с прошлыми временами; его ограждает древняя стена, а вид изнутри, столь непохожий на европейские улицы более изысканных кварталов, напоминает нам о том, что Афины когда-то были восточным городом. Вокруг нас валяются разные обломки; вот две маленькие заброшенные церкви, расположенные бок о бок, образующие как бы одно здание; купол одной из них наполовину разрушен, а его фронтоны, его *κωδωνοστάσιον*, возвышается на соседней колоннаде. Невдалеке находятся два здания, произведения импозантной силы и интрузивной архитектуры, оба из которых являются частью истории города и одно из которых следует сохранять так же тщательно, как и другое. Вряд ли кто-то предложит разрушить колоннаду римско-коринфской работы, потому что ее капители не того типа, что капители Лисикрата. Но в равной степени необходимо сохранить единственную мечеть, оставшуюся от турецких Афин, здание, стиль которого соответствует стилю византийских церквей примерно в том же отношении, в каком римские колоннады соответствуют истинно греческим. Мечеть стоит, предназначенная для каких-то военных целей. Более достойным использованием для него, лучшим символом триумфа и уважения было бы сделать его церковью-памятником некоторым героям войны за независимость. В том же квартале, недалеко от Тесейона, находятся остатки *гимнасиона* Птолемея, где множество надписей различных дат соблазняют нас разобрать их по буквам, пока мы не наткнемся на одну, которая содержит имя жены Хередеса Маратонского. Его театр находится по другую сторону Акрополя и, как и театр элдер, является частью самого Акрополя. Но именно в квартале к северу от Акрополя, в квартале новой *агоры*, посетитель Афин больше, чем где бы то ни было, находит возможность

заняться процессом, столь восхитительным в старых городах Галлии, Германии и Италии, процессом блуждания туда-сюда и натекания на какой—нибудь фрагмент древности - чем разнообразнее даты стиля, тем лучше - в каждом квартале. Акрополь слишком тщательно очищен от всего нового; в современном городе сохранилось слишком мало старого; здесь, в этом квартале Афин, старое и новое смешаны таким образом, что у исследователя возникает полный интерес к открытиям.

Но среди более поздних памятников афинской древности именно церкви занимают самое высокое место. Для путешественника с Запада они представляют особый интерес. Как ни один другой город его паломничества не дает ему такого запаса зданий языческой греческой архитектуры, так и никакой другой город не дает ему такого запаса зданий второй - христианско-греческой архитектуры. Их интерес не уменьшается и из-за небольших размеров современных афинских церквей. Здесь нет не только ничего, что могло бы соперничать со Святой Софией, Святым Виталием или Святым Марком; нет ничего, что могло бы соперничать даже с их собственным соседом в Дафне. Восточной церкви, как и древней Церкви Ирландии, кажется, всегда больше нравилось строить множество маленьких церквей, а не одну по масштабам великих служителей Западной Европы. Одной из причин этой особенности, несомненно, было использование единого алтаря в восточном обряде, что предполагало строительство нескольких отдельных церквей в тех случаях, когда западный архитектор предпочел бы построить одну большую церковь с несколькими часовнями. Таким образом, в Афинах полно маленьких церквей, уцелевших, как мы опасаемся, от большего числа, некоторые из которых погибли при закладке современного города. Толпа их как бы цепляется за корни Акрополя, в районе базара и памятника Андронику. Глаз быстро привыкает, но не устает от их маленьких куполов и апсид, которые всегда придают приятный вид тем уголкам, где они находятся, хотя ни один из них не может сравниться ни с величием, ни с живописностью западных церквей. Несколько имеют больший размер и более высокий архитектурный характер, а один, не будучи большего размера, является одной из величайших диковинок в христианском мире. Это церковь митрополита в Афинах, несомненно, самая маленькая церковь из *Шотландии* — мы ищем слово, которое подходит как для Кэшел, так и для Сент—Эндрюс, - которая когда-либо предназначалась для звания митрополита или кафедральный собор. Он выглядит как игрушка; остроумно было сказано, что он, по-видимому, предназначен для того, чтобы занять трон Мальчика-епископа. Но у него совершенно византийский вид; у него есть апсида, купол афинской формы, вырезанные в куполе верхушки окон — форма, которая соотносится с такими куполами, какие мы видели на Корфу и Дафне, в том же отношении, в каком немецкая апсида или башня со множеством остроконечных сторон соотносится с апсидой или башней более обычной формы. Церковь, несмотря на свои размеры, богата, покрыта пластинами скульптуры, некоторые из которых, по крайней мере, представляют собой древние фрагменты, использованные повторно.

Во всяком случае, путешественнику, для которого византийские формы все еще в новинку, нелегко установить точную дату возникновения афинских церквей. Также он не может найти, по крайней мере, непосредственно, много полезного для себя в легкодоступных книгах. Господа. Тексье и Пуллан выпустили великолепную книгу, наиболее ценную за иллюстрации конкретных зданий, которые, по их мнению, стоит описать, но бесполезную как общий взгляд на византийскую архитектуру, и которая не содержит ни одного примера афинской или другой греческой архитектуры. Мистер Дж. М. Нил в своей “Истории Святой Восточной Церкви” гораздо более подробно рассматривает этот вопрос, хотя иногда у нас возникает искушение

поддаться указаниям автора, который говорит об “Арте в Амбракии” и приписывает "долгое и мирное правление" Убийце болгар. Из периодов, на которые он делит византийское искусство, он относит столичную церковь ко второму, который простирается с 537 по 1003 год. Это относится ко временам Эйрене, афинской императрицы, которой афинская традиция любит приписывать церкви ее родного города. Но большинство афинских церквей, включая две, заслуживающие особого внимания, он относит к своему третьему периоду, 1003-1453 годам. Этот период, мы точно не знаем почему, считается периодом латинского влияния; но почему латинское влияние должно проявляться именно в 1003 году из всех? и какое латинское влияние можно увидеть в таких зданиях, как церкви Святого Феодора и Капникария? В целом, это две самые яркие церкви в Афинах. Они хорошо стоят на открытых местах современного города, представляя собой рельеф, хотя и странный контраст среди его современных форм — контраст действительно настолько сильный, что мы слышали, как шептались, что иногда мечтали об их разрушении. Если и есть какой-то латинский элемент в любом из них, то это в церкви Капникарея, которая имеет что-то вроде второстепенной церкви с собственным куполом, рядом с главным зданием, с его греческим крестом и центральным куполом. Эта второстепенная церковь отсутствует в Св. Феодор, но у Капникарии есть еще одна особенность, которую Св. У Феодора нет большого *притвора*, что, несомненно, является особым признаком православия. Воспоминание о Питерборо промелькнуло в нашем сознании, когда мы увидели этот благородный портик с его шестью арками, двумя пошире и четырьмя поуже, увенчанный четырьмя фронтонами. Он сильно пострадал от остекления некоторых арок, а также от подъема грунта, который покрыл колонны почти до половины их высоты. Этот портик действительно достоин изучения; это законный перевод на язык арочного стиля старого порта с его антаблементом, поскольку западный фасад Питерборо является дальнейшим переводом на язык стиля, не только арочного, но и остроконечного. К *притвору* примыкает также крыльцо с северной стороны, крыльцо, явно являющееся частью того же дизайна, с арками, опирающимися на колонны, и завершенное тремя остроконечными гранями. Вместо этих элементов у собора Святого Феодора простой западный фасад, состоящий, как и обычные западные фасады, из дверей и окон. Его наиболее заметной внешней особенностью является большой фронтон колокольни, расположенный на южном трансепте. Внутри Капникария имеет преимущество, поскольку ее купол опирается на колонны с квазикоринфскими капителями. Капители портика имеют различные формы, в основном неклассические. Материалом обеих этих церквей является в основном та более поздняя форма чередования камня и кирпича, которая выросла из более ранней римской кладки и которую мы уже видели на Корфу. Эти церкви и множество других, меньших по размеру и менее ярких, не останутся незамеченными ни одним человеком, в чьих глазах история, будь то политическая или художественная, представляет собой единый непрерывный рассказ. Они, если только мы не можем претендовать на место для их продажного последователя в турецкой мечети, являются новейшими среди древностей Афин, и они не менее достойны изучения, чем самые ранние. С ними мы покинем город фиолетовой короны и страну, которую мудрость какого-то доисторического реформатора сделала больше, чем главой. Мы покидаем Афины и Аттику; еще один этап, вернее, один переход по центральному морю Греции, выведет нас за пределы самой Эллады. Еще одна мысль приходит нам в голову, когда мы покидаем Афины, готовясь покинуть Грецию. Между творчеством древнейших и новейших греческих героев есть странное сходство. Тезей- это имя подойдет так же хорошо, как и любое другое, — объединил соперничающие города, чтобы сформировать единое постоянное содружество и тем самым создать Афины, похожие на архонты, императоров, герцогов и королей. Как соперничающие города забывали о своем

соперничестве в присутствии Тезея, так и лидеры соперничающих партий забывали о своем соперничестве в присутствии Канареса. Герой ушел; и пока мы пишем это, Греция и те, кто заботится о Греции, гадают, кто может занять его место. Его место в истине никто не может заполнить, но урок, преподанный концом его жизни, не должен пройти бесследно. Если бы соперничающие лидеры могли работать бок о бок по приказу одного человека, которого все с гордостью считали своим хозяином, они могли бы продолжать идти тем же бескорыстным путем, когда голос, призывающий их к союзу, будет больше не голосом одного человека, каким бы прославленным он ни был, а голосом самой их страны.

Marathôn.

Посетитель Афин, даже если у него нет времени осмотреть каждое историческое место в Аттике, должен, по крайней мере, посетить самое историческое место из всех, место, где было решено, что Аттика должна оставаться Аттикой, а Европа - Европой. Мистер Лоу, мы вполне можем поверить, был единственным, кто смотрел на битву при Маратоне как на дело незначительной важности, потому что в день, определивший судьбу мира, было совершено лишь сравнительно небольшое количество убийств. Мистер Лоу, конечно, действительно знал лучше; но есть те, кто, похоже, действительно не знает лучше, те, кто измеряет вещи только их физической величиной и не может оценить ни их результаты, ни их моральное величие. Часто было пролито гораздо больше крови, чтобы решить, кто из двух восточных деспотов должен обладать властью, чем было пролито, чтобы решить, что Европа не должна попасть под власть восточных деспотов. Несомненно, никогда будущая судьба мира не зависела в такой степени от воли одного человека, как тогда, когда аргументы Мильтиада убедили полемарха Каллимаха отдать свой голос за немедленное сражение. Это голосование стало, так сказать, кульминацией европейской конституционной жизни. Все зависело от голоса одного человека не потому, что вся власть принадлежала одному человеку, а потому, что она принадлежала многим. Когда десять генералов разделились поровну, Каллимах отдал решающий голос, и Европа осталась Европой. Немыслимо, чтобы, если бы афинская свобода была раздавлена тогда, когда она была еще в своем первом детстве, ход мировой истории мог бы быть таким, каким он был. Порабощенная Греция никогда не смогла бы стать тем, чем была свободная Греция. Афины и Мегалополис могли быть не более чем Эфесом или Милетосом. Вполне возможно, что, даже если бы Восточный полуостров был отделен от западного мира, центральный полуостров все еще мог бы стоять на своих позициях. Варвар все еще мог быть сдержан, и сдержан навсегда, руками римлян, или самнитов, или луканцев. Римская власть, возможно, все еще была распространена по всему миру; германец и Раб все еще могли прийти, чтобы выполнить свою более позднюю миссию в римском мире; но римский мир, не искушенный Грецией, никогда не смог бы стать тем, чем был и остается римский мир реальной истории. Мужчины, сражавшиеся при Маратоне, сражались как чемпионы каждого последующего поколения европейцев. Если на Акрополе Микене мы чувствуем, что у нас есть какая-то малая доля, доля дальних родственников, в колыбели древнейшей европейской цивилизации, предмете древнейшей европейской литературы, то, стоя на могиле ста девяноста двух человек, погибших при Маратоне, мы чувствуем, что у нас есть более близкое требование, требование людей, совершающих

паломничество к месту упокоения умерших, что европейские земли и европейские люди должны быть такими, какими они были.

На самом деле, на равнине Маратон знаменитое изречение Джонсона приобретает более полный смысл, чем, вероятно, предполагал его автор. “Вряд ли стоит завидовать тому человеку, чей патриотизм не набрал бы силу на равнине Маратон”. Это высказывание верно, если мы думаем просто об ассоциации, примере, аналогии. Это становится правдой в еще более высоком смысле, если мы посмотрим на день Маратона как на то, чем он является на самом деле, как на то, что определило не только судьбу Афин, но и судьбу Европы. И мы можем взглянуть на это место с другой точки зрения, действительно менее широкой, чем эта, но более широкой, чем та, которая рассматривает его просто как сцену единственного события 490 года до нашей эры. Даже если отбросить в сторону событие, которое принесло Маратону бессмертную славу, Маратон все равно имел бы значительную историю, мифическую и реальную — историю, некоторые главы которой сохранились в памяти многих из нас. Мы должны помнить, что, помимо точки зрения, согласно которой Греция в день Марафона находилась почти в первой молодости, существует другая точка зрения, согласно которой Греция в то время уже находилась в упадке. Одна точка зрения верна, если мы думаем только об афинской демократии, об афинском искусстве, об афинской поэзии; другая точка зрения не менее верна и в отношении общей истории греческой нации. Когда произошла Марафонская битва, порабощение греческой нации уже началось; работа, завершенная Магомедом Завоевателем, была уже начата Крезом и Киром. Азиатская Греция уже была порабощена; Марафонская битва велась для того, чтобы Европейская Греция не была порабощена подобным образом. Некоторым, кто ступает по Маратонской равнине, также может прийти в голову, что битва, которую Мильтиадес вел там за свободу эллинов, была не последней битвой, которая велась на той же земле за то же самое дело. На той же равнине, где афиняне одной эпохи сражались за спасение Греции от персидского ига, афиняне другой эпохи сражались за освобождение порабощенной Греции от турецкого ига. Современная битва при Маратоне, июльская битва 1824 года, вряд ли относится к числу великих событий Войны за независимость, поскольку ее лидер, безусловно, не входит в число самых чистых героев Войны за независимость. И все же, когда Гурас разгромил янычар Омара Каристосского на той же земле, на которой Мильтиадес разгромил войска Датиса и Артаферна, для взгляда, охватывающего весь диапазон греческой и европейской истории, в этом факте есть нечто большее, чем простая ассоциация, чем простое совпадение. Две битвы при Маратоне были на самом деле всего лишь двумя этапами в одной длинной истории, истории о непрекращающейся борьбе между цивилизацией и свободой Запада и варварским деспотизмом Восточного мира.

Марафон, как и Элевсин, дает нам обычный урок греческой географии и помогает лучше понять величие той чудесной перемены, которая объединила все города Аттики в единое государство. Мы сразу видим, что Маратон — это название, по крайней мере, в более позднем употреблении, распространилось на весь Тетраполис — был, как и Элевсин, задуман, согласно общим законам греческой политической географии, как отдельное государство, отличное от Афин. Действительно, он более тщательно отрезан, чем Элевсин. При взгляде с Акрополя Пентеликос полностью скрывает Маратонийскую равнину; в то время как, хотя Элевсин фактически скрыт от глаз Айгалеосом, Китайрон и другие большие высоты за ним предполагают существование Триасской равнины. Таким образом, Марафон, что вполне естественно, имеет долгую мифическую историю, отличную от истории Афин. В нем фигурируют не только Тезей, но и Хереклес и Хереклидаи, и легенда повествует о битве при Маратоне, которая произошла

раньше, чем любая из тех, что зафиксированы в истории. Херекл оставался в исторические времена главным объектом местного поклонения, и именно у его святилища афинское войско расположилось лагерем перед тем, что, как мы полагаем, следует назвать второй битвой. Афине тоже, как и в других местах аттической почвы, не обошлось без своего храма на болоте. Маратон фигурирует в Каталоге не чаще, чем Элевсин, и по той же причине, что и Элевсин. Но его название встречается в "Одиссее" в отрывке, который может наводить на некоторые географические размышления:

Ἦ ἄρα Φωνήσας ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη

Πόντον ἐπ' ἀτρύγετον· λίπε δὲ Σχερίην ἑρατεινήν·

Ἦκετο δ' ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην,

Δῦνε δ' Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον·

Если Шери действительно Корфу, этот маршрут в Афины может показаться самым неожиданным, и все же он едва ли более чудесен, чем маршрут через Сиру, по которому часто ездит современный путешественник. В истории Маратон впервые появляется, когда Писистрат приземляется там по возвращении из изгнания. Второй - когда сын Писистрата повел туда персидское войско, как подходящее место для использования кавалерии, которую, в конце концов, они, по-видимому, не использовали. Ни одно сражение в истории не изучалось более детально, и в некоторых случаях это делали люди, объединившие технические военные знания с доскональным знанием страны. Полковник Лик, если упомянуть только одного исследователя, сделал все, что могло сделать сочетание обоих качеств, хотя поражает, что он постоянно ссылается на Геродота как на современного писателя. И все же, после всех его трудов, после всех трудов мистера Финли и других, все жалуются, что повествование Геродота неудовлетворительно. Комментарии дина Блейкли кажутся нам одними из самых острых, которые были сделаны. Можно усомниться в том, что Геродот когда-либо бывал там; он определенно не демонстрирует никакого знания местности. Он не упоминает о болотах, которые образуют столь заметную черту в характере маратонийской равнины. Болота лежат между морем и полем боя, так же как поле боя находится между болотом и горами. Болото не только не упоминается Геродотом, но и его рассказ кажется почти несовместимым с его существованием. Но Павсаний видел в Пойкиле картину, на которой персы падали в болото. Это все равно что обратиться к гобелену из Байе с более поздних рассказов о битве при Сенлаке. Павсаний, хотя и жил много веков спустя, в этом смысле был действительно ближе к тому времени, чем Геродот. Картина увековечила этот факт; Геродот рассказывает эту историю такой, какой она стала поколение спустя. К тому времени, как говорит дин Блейкли, история попала под действие закона, по которому "популярная традиция быстро опускает все те подробности сражения, которые свидетельствуют о стратегическом гении, и заменяет их преувеличенными описаниями личной храбрости". Мильтиадес, как хороший полководец, воспользовался преимуществом местности и во многом был обязан своим успехом природе местности. Популярная традиция требовала, чтобы все решалось исключительно упорной борьбой.

Короче говоря, почти каждая деталь этого памятного боя кажется окутанной неопределенностью. Трудно установить точное положение обеих армий, и само название

Маратон, возможно, изменило свое место. Столь же вероятным представляется местонахождение старого города, но не в современном Маратоне, а, как выразился полковник Лик, в Бране. И все же, среди всех этих сомнений есть существенная определенность. О работе, которая была проделана в тот день, об общем объекте сомнений нет, и самый живой и говорящий памятник из всех находится здесь, чтобы свидетельствовать об этом. Мы стоим не на могиле персов, как выразился поэт, а на кургане, который покрывает прах афинян, павших в тот день. На пространстве между заливом с его голубыми водами и холмами, окаймляющими равнину, была решена судьба Европы. Мы стоим на насыпи; взгляд скользит по холмам, от Пробалинтоса до мыса Киносура. Мы смотрим на более старого и более нового кандидата на имя Маратон; мы смотрим на холм, где по более старым легендам находился дом Пана, и где более позднее название Драконера говорит о каком-то более древнем или более позднем мифе о драконе. Мы знаем, что именно в этих пределах мощь Азии была сломлена силой двух эллинских городов. Стоя на этом холме, вместо того чтобы мечтать, как мечтал поэт во времена поработанной Греции, мы можем вспомнить, как в круговороте человеческих событий на том же самом месте была одержана еще одна победа Европы над Азией, и если существуют, как говорят нам другие поэты, два особых голоса, взывающих к свободе, то никакое место не могло быть выбрано лучше для проделанной там работы, чем Маратонийская равнина. Когда -то эта земля, как говорили, была

Неизменный во всем, кроме своего иностранного повелителя.

Теперь иностранный лорд ушел, и в остальном никаких изменений не требуется. Там есть горы, там есть море, и почти такой же нетленный, как они сами, курган павших героев тоже там. На небольшом расстоянии от кургана сохранилось несколько камней, которые установлены в качестве отдельного памятника предводителю битвы того дня. Стоя там, у могилы Мильтиадеса, мы думаем только о том дне. На равнине Маратон мы не будем думать ни о Паросе, ни о Херсонесе.

Пока мы пишем, возможно, в самый неподходящий момент, приходит новость о том, что Греция потеряла последнего и благороднейшего из своих последних героев. Человека прежних времен, которому доверяли все его соотечественники, человека, перед которым вожди противоборствующих сторон могли отбросить в сторону свою зависть, забирают из его страны в момент ее крайней нужды. Одна нить, связывающая нас с прошлым, грубо обрывается, когда последний из героев прошлого, последний *ἰσχυρὸς ἄνθρωπος*, отходит от работы, к которой его снова призывало графство. Прожив девяносто с лишним лет — жизнь, в которой самые суровые цензоры, бич которых не щадил ни греков, ни англичан, не смогли найти ни единого изъяна, — героя "брандеров" больше нет. Имя Константина Канареша добавлено к тому же списку ушедших достойных людей, что и Мяулес и Ботцарес, а также Черч и Гастингс. И в длинном списке людей, которые на протяжении стольких веков воздавали честь эллинскому имени, среди немногих избранных, чью славу не запятнает ни малейшее пятнышко, наряду с Формионом и Калликратидасом, людьми своего призвания и своей стихии, перо истории не выгравировало более благородного имени, чем имя того, кто только что ушел, того, кто так же верно погиб на службе своей стране, как если бы он пал пятьдесят лет назад, как сам Кинаигейрос на берегу Маратона.

Саронический залив.

Путешествие по Греции в какой-то мере приходится совершать задом наперед. Чужеземец, который добирается до Афин, поскольку часто бывает удобно добраться до них через Сиру, и который не собирается пересекать границы греческого королевства, естественно, заедет в Афины по пути домой. Путешествие из Сиры в Афины - это путешествие, совершаемое от восхода до захода солнца. Подобным образом, сами Афины являются практическим центром для многих пунктов, которые лежат к западу от них и которые географически образуют дальнейшие этапы обратного путешествия. Путешественнику эпохи Павсания, одному из первых антикваров в современном понимании, Афины могли показаться странным центром для путешествия по арголийской земле, главной целью которого была Микена. Микена в его времена была такой же пустынной, как и сейчас, но Аргос и Коринф были совсем в другом положении. В его времена Аргос и Коринф были соединены транспортной дорогой, поскольку есть надежда, что вскоре они снова объединятся. Море тогда было менее важным магистральным путем Эллады, чем в прежние времена или чем оно снова стало в более поздние времена. Путешественник, не отличающийся особой выносливостью, скорее всего, посмотрит на Микене и на то, что естественно сопутствует Микене, как на экскурсию из столицы, причем как можно большую часть которой следует совершать по воде. Иными словами, большинству путешественников, путешествующих по морю из Пейрея в Науплию, наиболее естественным путем будет добраться до арголийской земли. Таким образом, путешественник начнет свои исследования с одного из тех очаровательных путешествий между островами и полуостровами, которые составляют столь характерную черту греческих путешествий. Путешествие из Пейрея в Науплию наглядно демонстрирует некоторые особенности греческой географии и истории. Как давно заметил Сульпиций, знаменитые города расположены недалеко друг от друга. Мы лучше поймем природу греческой политики и греческих войн, когда полностью примем тот факт, что так много противоборствующих держав находятся в пределах видимости друг друга. Это чувство сильно проявляется в сознании, когда мы смотрим вниз с такой точки, как холм Брешиа, и видим перед собой государства Ломбардии, расположенные как бы в определенном порядке. Но существует большая разница между государствами, сгруппированными таким образом, почти как бы в правильном порядке, каждое из которых отмечено своей башней, возвышающейся над бескрайней равниной, и государствами, местоположение каждого из которых образует заметный природный объект, остров, мыс, внутренний холм. Мы видим, почему продолжительность существования греческих содружеств была намного больше, чем государств Ломбардии, и почему они не были так же легко объединены под властью нескольких могущественных лордов. У мистера Махаффи, который иногда приходит к ненадежным выводам о вещах, которые он недостаточно изучил, но который уступает немногим в остроте наблюдения за вещами, которые он действительно изучал, есть несколько хороших замечаний о географическом разделении между штатами, которое было вызвано физическими особенностями страны, прежде всего горными хребтами. Афины и Фивы были, по понятиям современных государств, очень близки друг к другу, но Афинам и Фивам было действительно трудно добраться друг до друга. Море действительно было, будь то для мирных или для военных целей, не преградой, а высоким путем, но точно так же, как физическое положение греческих государств придавало им более отчетливую национальную принадлежность, так и длинные и извилистые побережья островов и полуостровов, на которых было расположено так много из них, придавали им, как бы близко они ни лежали друг к другу, реальную протяженность

территории, совершенно несоизмеримую с их близостью. Таким образом, какой бы короткой ни казалась нам жизнь государств Древней Греции, она была, по крайней мере, намного длиннее, чем жизнь государств средневековой Италии. Из последних выжили лишь те, чье географическое положение позволило им выжить. Венеция и Генуя говорят сами за себя; то же самое можно сказать и о Рагузе на другой стороне большого залива. Хорошо известно, что Лукка также, подобно Афинам и Фивам, была отрезана от своей соседки Пизы горами, которые мешали обоим из некогда соперничавших государств видеть друг друга.

С таким ходом мыслей в наших головах мы можем начать наше путешествие из Пейрея в Науплию, первый этап нашего путешествия из Афин в Микены. Высоты Мегариса, сам Акрокоринф, видны издалека; но, поскольку наш курс обозначен, Мегару и Коринф мы увидим больше и ближе, в то время как на другие государства, граничащие с заливом, мы взглянем мельком в ходе нынешнего путешествия. С Афинского Акрополя, а также из многих других точек Аттической почвы, мы смотрели вниз на разнообразные очертания двух скалистых островов, которые образуют основные черты морского ландшафта. Дальше от нас лежит Эгина, бельмо на глазу Пейрея; ближе лежит Саламин, самое гордое название, за исключением одного, в истории Афин. На общем фоне один остров так же заметен, как и другой, и мы, естественно, задаемся вопросом о причине такой большой разницы в их истории. Эгина сама по себе является знаменитым островом; Саламин - это просто остров, который стал ареной одного из самых известных событий. Один из тех капризов судьбы, который, прежде всего, создает и портит состояние коммерческих государств, сделал Эгину на некоторое время одной из великих держав Греции. Соперница Афин в том элементе, который принадлежал Эгине до того, как она принадлежала Афинам, она стала сначала предметом, а затем жертвой своей соперницы. Итак, когда в последующие дни она снова стала независимым государством, ей был нанесен не менее страшный удар со стороны Рима и ее итолийских и пергамских союзников. У Саламина нет такой истории. Остров Айакидов, предмет поэтического красноречия Солона, некогда оспаривавшийся между Мегарой и Афинами, стал неотъемлемой частью аттической земли, ареной великой битвы, в которой афиняне и эгинетяне сражались бок о бок против варваров. Но Саламина не разделяла славы Эгины, хотя и разделяла ее печаль. У Эгины своя история, хотя главную роль в ней играют ее отношения к Афинам. История Саламина - это просто часть истории Аттики. Спустя много времени после дней Солона или Перикла она пострадала от рук афинян лишь не так сильно, как Эгина, но это было тогда, когда Афины, переходя от одного македонского правителя к другому, заподозрили Саламин в предательских отношениях с тем, к кому город некоторое время был враждебен. Саламин обрел отдельное бытие во времена Кассандра, как Элевсин снова обрел отдельное бытие во времена Тридцати. Следует ли искать причину такого различия между побежденным соперником и присоединенной территорией в том факте, что в арголийской *Акте* не было силы, которая могла бы привлечь к себе Эгину — остров был гораздо более склонен привлекать своих соседей на материке, — в то время как Саламин находился достаточно близко к аттическому побережью, чтобы попасть в зону действия того странного влияния, которое сделало историю Аттики столь противоположной истории всех других эллинских земель? Как Элевсин и Маратон могли быть объединены в Афины, так и Саламин мог быть объединен; но Эгина находилась вне этого влияния и ни в какой другой. Эгина, слишком могущественная, чтобы быть присоединенной к Афинам, стала, как мы видели, соперницей и жертвой Афин, в то время как Саламин, более слабый и менее

могущественный, действительно стал ее жертвой, но в образе не внешнего врага, а родного округа, обвиненного в государственной измене.

Затем мы проезжаем мимо Саламина. Мы размышляем о великом морском сражении; особенно мы размышляем, когда проходим мимо маленькой крепости Саламин, острова Пситталей, любимого Паном, где Аристид нанес последний удар благороднейшему из персидских войск. Эти события произошли при Саламине и Пситталее, но они не были делом рук жителей Саламина и Пситталей, даже если в Пситталее и были люди. Но мы видим работу людей Айгины, память о величии Айгины, когда приближаемся к побережью исторического острова, и храм панэллинского Зевса взирает на нас сверху вниз со своей высоты. Мы огибаем северную оконечность острова; мы отмечаем современный город и полосу плодородной земли, которая лежит между морем и высокими зубчатыми вершинами острова. Мы мельком видим Эпидавр, город Асклепиос, и наши мысли уносятся ко второму Эпидавру на Лаконском побережье, к третьему Эпидавру далеко отсюда, прародителю Рагузы и всех ее аргозиев. Мы проезжаем мимо Метаны, из всех полуостровов ближайшего к острову, прилепляющегося к аргольскому *Акте* как *Акте* прилепляется к Пелопоннесу, как Пелопоннес прилепляется к Элладе, как Эллада и прилегающие земли прилепляются к общей массе Европы. Мы переходим к местам, известным как в более поздние, так и в более ранние времена, к некоторым, которые известны только в более поздние времена. О Калаурее с ее Амфиктионией, пожалуй, думают меньше, чем о современном Поро, греческом арсенале, сцене волнующих событий войны, которая сделала Грецию свободной. Мы огибаем территорию Трезении, но сам Трезен едва ли попадает в поле нашего зрения; и, если Порос оспаривает это место у Калаурейи, Гермiona не может даже пытаться оспаривать в наших мыслях это место у островов, лежащих у ее берегов, которые современные войны сделали столь прославленными. Там находятся дома этих знаменитых албанских колонистов, два из трех великих питомников моряков Эллады. Их судьба сложилась так, что поверхностным наблюдателям может показаться странной, но она просто следует самым обычным законам человеческой природы. Особо привилегированные при турке, они были первыми в войне против турок. Освободившись от его ига, они сильно потеряли то положение, которое занимали при его иге. Объяснение простое. Гидриоты, независимые на своем собственном острове при единственном условии - поставлять людей во флот султана, наслаждались той полусвободой, которая заставляет людей острее стремиться к совершенной свободе. Они лучше знают, что такое свобода, чем те, кто совершенно подавлен, и, поскольку они лучше знают, что это такое, они также лучше знают, как ее завоевать. В таких случаях мы всегда слышим глупые обвинения в неблагодарности — по-видимому, захватчику причитается благодарность, если ради своих собственных целей он что-то оставляет своей жертве. Тогда Гидра, земля Мяулес, была первой в борьбе просто потому, что могла быть первой. Но когда борьба закончилась, Гидра проиграла немало. То есть то, что было потеряно Гидрой, выиграла Греция в целом. Во времена рабства Гидра процветала, потому что была сравнительно свободной. С установлением всеобщей свободы Гидра потеряла все особые привилегии; торговля, как и всегда будет, распространялась в тех местах, которые ей больше всего подходили; Пейрей и Сира поднялись, когда Гидра пала. И все же Гидра и Спеца, по крайней мере, являются частью свободной Греции. Псара, остров Константина Канареса, все еще находится в рабстве. Это нечто - стоять перед домом последнего из древних героев, смотреть на Саламин и помнить, что, когда разыгрывалась битва, Фемистокл тоже был *πολις ἄνθρωπος*. По счастливой аналогии, люди называют этот дом "Капрера"; владельцем "Капреры" также является *ἄπολις ἄνθρωπος*.

Таким образом, Гидра, как и Айгина в более ранние времена, является свидетелем того, как торговля перетекает с одного берега на другой. Со своим собратом, Спецой, главный интерес самого нашего путешествия, в отличие от интереса к местам, к которым наше путешествие должно нас привести, довольно благополучно заканчивается. Теперь мы поворачиваем за последний главный угол; мы входим в особый Арголический залив. Вскоре глаза, знакомые с пейзажем, начинают указывать нам местонахождение великих объектов нашего паломничества. Мы видим — по крайней мере, видим, где нам следует искать, — Тиринф на одиноком холме посреди равнины, Аргосскую Лариссу, венчающую ее вершину, саму Микену, темнеющую среди гор. Имея перед собой эти объекты, мы можем быть прощены, если, как только окажемся на берегу, поспешим к ним, даже в ущерб месту, которое как раньше, так и позже имело некоторые притязания на наши мысли. Мы приземляемся в Науплии. Учитывая, что великие достопримечательности теперь совсем рядом с нами, нас, возможно, снова простят, если мы пройдем мимо крепости, сохранившей имя легендарного Паламедеса, и руин, которые показывают, что и Науплия, хотя ее слава и значение относятся в основном к гораздо более поздним временам, была жилищем и крепостью первобытной Эллады. Малоизвестная в былые времена эллинской свободы, Науплия занимала при более поздней империи, при венецианцах и при турках столь высокое положение, что покинутый и забытый Тиринф стал в народной речи называться не иначе, как *Старая Науплия*. Затем мы спешим в Старую Науплию, но спешим не так быстро, чтобы успеть мельком увидеть крылатого льва над воротами молодого города, символ веков пелопоннесской истории, который мы слишком склонны забывать. В те века, если Тиринф должен был получить название Науплия, то Науплия должна была получить название гораздо более отдаленного города. По одной из многочисленных попыток сделать себе имя на одном языке, несут смысл в другом—в данном случае было бы точнее сказать, сделать название несет другой смысл в ее собственном языке—Нафплион, порт Аргос, стал венецианские крепости *Наполи-ди Румынии*. Пелопоннес, больше не *Склавиния*, все еще оставался Румынией; в те дни ни у кого на устах это слово не звучало как Эллада. Нигде, и меньше всего в таком месте ее могущества, как это, на эмблему великой республики нельзя смотреть без интереса, изумления и восхищения. Еще один лев неподалеку, посвященный пришествию баварского короля, пройти мимо - это всего лишь проявление доброты. Мы на пути — ибо дорога существует — к самой чудесной реликвии доисторических эпох страны. Вскоре мы останавливаемся перед возвышенностью на равнине, которая наводит на мысль о нашем собственном Старом Саруме, который, на второй взгляд, может наводить на мысль об Уорлбери. Наконец-то мы добрались до одного из объектов, которые сами по себе могли бы вознаградить нас за то, что мы приехали из Старого Сарума или из Уорлбери, чтобы увидеть их. Саламин, Эгина, Порос, сама Гидра - все это кажется всего лишь этапами на пути, когда мы стоим под огромными и пустынными стенами Тиринфа.

Тиринф.

Мы слегка набросали основные объекты, которые мелькают перед глазами во время восхитительного путешествия из Афинской гавани в то, что мы можем в некотором роде назвать Аргосской гаванью. Оказавшись на земле Арголии, в самом центре и колыбели эллинских

легенд, среди городов, названия которых с детства окружены ореолом мифических преданий, мы должны остановиться и более подробно поразмыслить над каждым из известных и чудесных объектов, находящихся перед нами. В каждом из них есть свое очарование, свой собственный урок. Микене — особая цель нашего паломничества, объект, который — даже если оставить в стороне современные открытия — сам по себе сполна вознаградил бы за путешествие из западного мира. Но половина очарования, половина урока Микене проистекает из его связи с другими городами по соседству. Аргос и Микена, разрушитель и уничтоженный, предполагают друг друга и соединены вместе, смешаны во многих стихах и легендах. Но они не одиноки. Прежде чем мы доберемся до них, мы попадаем в другое место, менее известное, менее бросающееся в глаза во многих отношениях, но все же имеющее свою собственную славу, свое очарование, место, мимо которого не должны проходить даже те, кто спешит к самому известному месту из всех. Первая из наших горных крепостей играет, по сравнению со своими собратьями, сравнительно небольшую роль либо в легендах, либо в истории. Расположенный в менее впечатляющем месте, чем любое из них, не венчающий такой высоты, как Ларисса Аргосская, не окруженный горами и ущельями, как Микенский акрополь, пустынный, как сама Микена, но не содержащий таких чудес первобытного искусства в пределах своей окружности стен, Тиринф стоит перед нами, требуя нашего изучения просто своими стенами и ничем другим. Это крепость на холме, и ничего, кроме крепости на холме. Но это нечто — любоваться городищем на холме, стены которого были древними и прекрасными во времена Гомера и которые сохранились примерно так же, как они, должно быть, стояли во времена Гомера. Аргос, Микены, Коринф — все это можно увидеть и изучить; но мы потеряем немалую часть знаний об этих городах и стране, частью которой они являются, если не начнем наше исследование с того замечательного места, которое позволило первому из греческих поэтов, не менее первому из греческих географов, дополнить свои стихи звучной формулой:

Τίρυνθά τε τεῖχιόεσσαν.

Более того, есть один аспект Тиринфа, который вызовет особый интерес у любого, кто уже видел что-то из первобытных городов Италии, но для кого сам Тиринф является первым знакомством с первобытными городами Греции. Тот, кто посетил Фесулу и Тускулум, тот, кто внимательно осмотрел сам Рим, почувствует, что у него сложилось определенное впечатление, что его работа несовершенна, пока он остается на западной стороне Адриатического моря. Тускул, прежде всего, указывает на Тиринф. Коллекция первобытных останков в Греции и Италии, сделанная давным-давно Додвеллом — наблюдателем, который, мы можем добавить, уступает только великому имени Лик, — возможно, была неудачной в том, что способствовала приданию большей значимости опасному слову "пеласги". Но объединение греческого и итальянского примеров было большим достижением. Еще большим достижением было бы объединить как можно больше примеров одного и того же рода со всех частей света. Опрометчивый теоретик действительно может увлечься любым количеством тех диких фантазий, которые находят свое выражение в таких названиях, как "друидический" в Британии и "пеласгийский" в Италии и Греции. Но критический исследователь, приверженец сравнительного метода, укрепитесь в своих исследованиях, увидев, как в искусстве строительства, как и во всем остальном, сходные следствия проистекают из сходных причин, как одна и та же стадия процесса приводит к одним и тем же результатам в далеких странах и в далекие эпохи. Беспомощным разработчикам теорий о происхождении арки, и особенно остроконечной арки, может быть полезно узнать, что к арке стремились в бесконечном количестве мест — что к ней успешно стремились во многих местах — что остроконечная арка, просто как конструктивная форма, так же стара, как круглая,

и, скорее всего, еще старше. Гид, который показывает единственную “арку Готико” в Тускулуме, иллюстрирует состояние ума, в котором всего два или три поколения назад находились признанные исследователи истории архитектуры. Для них готический стиль и стрельчатая арка означали одно и то же. От этой веры, как и от многих других родственных верований, можно хорошо отучиться на акрополе Тиринфа.

Тиринф лежит на пути в Аргос; а Аргос лежит на пути из Тиринфа в Микену. Эти три явления следует изучать вместе; их положение и история дают одновременно так много сходства и так много контраста. Все они похожи друг на друга, не меньше, чем Фесула и Тускулум, не меньше, чем сами Афины, не меньше, чем “большая группа деревенских общин у Тибра”, являются примерами примитивных крепостей на холмах, которые выросли в более поздний город. Все они по-разному демонстрируют особенности, характерные для городов этого незапамятного типа. Но они показывают также различные формы, которые мог принимать этот незапамятный тип в зависимости от различий местных или иных обстоятельств. Афины, Коринф и множество других городов принадлежат к одному и тому же общему классу. Мы могли бы сказать, что так поступали все города Греции с незапамятных времен. Для речного города маленькие ручьи Греции не оставили места; и даже там, где речной город был возможен, он, несомненно, знаменует более поздний этап, чем городище на холме. Города колониальной Греции, основанные поблизости или фактически в море, знаменуют собой еще более поздний этап. Тиринф, Аргос, Микены - все это горные города; но они занимают холмы очень разной высоты и формы. Все они расположены на небольшом расстоянии от моря, но ни один из них так и не превратился в морской город, подобный Афинам, Коринфу или Мегаре. Находясь рядом, но не настолько близко, чтобы их можно было слить воедино, как составные элементы Рима или Спарты, они должны были терпеть другие альтернативы, которые обычно ожидали города, расположенные рядом, но где такое объединение было невозможно. Соперничество, вражда, уничтожение более слабых более сильными легли в основу истории трех самых известных городов арголийской земли.

Итак, мы стоим перед Тиринфом. Мы почти удивлены, обнаружив, что так быстро добрались до него из современной Науплии. Сам по себе такой же заброшенный, как Микене, он не стоит так же, как Микене, полностью отрезанный от всех признаков современной жизни, от всех признаков какой-либо более поздней даты, чем первобытные дни Греции. Действительно, есть что-то поразительное в том, что первобытный город, обладающий такой богатой мифической славой, стоит на небольшом расстоянии от обочины дороги. Более семнадцати столетий назад Павсаний точно так же обратил на него внимание и нашел его таким же заброшенным, как и сейчас; тогда, как и сейчас, сохранилась стена, и ничего больше. Это место ни на минуту нельзя сравнивать ни с одним из городов-соперников. Место Микене действительно было бы поразительным как простой пейзаж, даже если бы Микене там не было. То же самое можно сказать и о месте, где находится если не сам Аргос, то, по крайней мере, его Ларисса и его театр. Но холм Тиринф - это всего лишь один, и притом самый низкий, из нескольких небольших изолированных холмов в низине между заливом и горами. Если бы на этих других ближайших холмах возникли другие крепости, группа городов могла бы быть объединена в один большой город тем же процессом, который опоясал холмы Рима единой стеной. Но этому не суждено было сбыться; Аргос должен был вырасти, но он должен был вырасти только за счет полного уничтожения Тиринфа и Микены как населенных городов. И вот там, совершенно заброшенные, не содержащие в себе ничего, кроме пастушьей хижины, возвышаются могучие стены, стены, которые дали Гомеру говорящий эпитет, стены, которые в более поздние времена люди сочли

слишком большими, чтобы быть делом рук смертных, и утверждали, что они были созданы сверхчеловеческим мастерством легендарного Киклопеса. Это название знаменует изменение представления, которое стало связываться с этим именем со времен Гомера. Киклопы из более поздних греческих легенд, всегда художники того или иного рода — иногда строители гигантских стен, иногда изготовители молний Зевса, — не имеют сходства ни с кем, кроме названия и силы, с одинокими и дикими Киклопами из "Одиссеи". Но когда мы видим не только огромную трату простой силы, но и проявление настоящего мастерства, которое проявляется в этих примитивных оборонительных сооружениях — сооружениях, как мы склонны думать, грубого века, когда, если силы было в избытке, большого мастерства не требовалось, — неудивительно, что люди в более поздние дни смотрели на них как на дело рук более чем простых смертных. В поисках орнамента, полировки или отделки любого рода мы не должны смотреть на сцену, представленную Тиринфом. Тем не менее, способ обращения с грубым материалом, нагромождение этих огромных необработанных камней таким образом, чтобы подогнать их друг к другу и получить спереди так много сравнительно гладких поверхностей, был в эпоху и в условиях, в которых жили строители, таким же настоящим произведением художественного мастерства, как и тщательность, с которой были выполнены изящные изгибы, мельчайшие различия в расстоянии и направлении в портике самого Парфенона. Кто были эти строители, нам бесполезно гадать. Они принадлежат к первобытным, незаписанным дням Эллады, ко временам, когда еще не зародилась легендарная история. У Микене есть история — история, которую разные умы могут принять за истину, за простую басню, как басню, основанную на правде, но которая все еще является историей, которая все еще чем-то отличается от простого угадывания имен основателей, которое было предписано предполагаемой необходимостью найти героя-эпонима для каждой страны и города. Легенды о Тиринфе едва ли выходят за рамки этого этапа. Хереклес действительно фигурирует в его истории, но Хереклес по своей природе вездесущ. Тот факт, что в Микене есть памятники, отмечающие гораздо более высокую ступень искусства, чем что-либо в Тиринфе, ничего не доказывает относительно относительной даты возникновения двух городов. Работы в Тиринфе и древнейшее сооружение в Микене вполне могут быть датированы одним и тем же временем. Все, что мы можем сказать, это то, что эти стены относятся к эпохе, предшествовавшей истории, традиции. Если бы Гомер говорил об этих стенах как о творениях Киклопеса, мы могли бы увидеть в этом смутное предание о том, что они были творениями какой-то расы людей, более древней, чем его собственные ахейцы. Как бы то ни было, мы можем только сказать, что это работы самых ранних жителей Пелопоннеса, от которых до нас сохранились какие-либо работы. Что бы мы ни предполагали, проводя аналогии с другими землями, у нас нет никаких свидетельств существования каких-либо жителей Пелопоннеса ранее гомеровских ахейцев.

Затем мы несколько неожиданно оказываемся на холме-крепости у обочины дороги. Нас ведут к южному склону холма, который гораздо длиннее с севера на юг, чем с востока на запад, и мы оказываемся перед главным подъездом к Тиринфу или, по крайней мере, к его акрополю. Великие ворота погибли; нечего противопоставить львам Микене. Но справа от того места, где он стоял, находится одна из двух главных особенностей, которые придали стенам Тиринфа их особую славу. Это то, что греческие антиквары называют *σύριξ*, то, что по-английски можно назвать проходом, длинным проходом с крышей, сделанной из огромных камней первобытной кладки, уложенных так, что они образуют форму, хотя и не конструкцию, стрельчатой арки. Из множества примеров стремления к архаичной конструкции, так и не достигнув ее на самом деле, которые можно найти разбросанными по столь многим частям света, ни один не является

более поучительным, чем этот. В истории архитектурного строительства он полностью заслуживает места рядом с микенскими сокровищницами. Здесь находится великое военное сооружение древнейших времен, строители которого упорно, хотя и безуспешно, пытались сформировать арку. Этот факт сразу же ставит барьер между примитивными и историческими зданиями Греции. Действительно, странно, что народ, который подошел так близко к величайшему из механических открытий, не смог полностью достичь его и развил свою историческую архитектуру на основе совершенно иных принципов. В Италии было иначе. Там мы видим точно такие же устремления к арке, которые мы видим в Греции; но здесь эти устремления были вознаграждены успехом в самом начале. Попытка увенчалась успехом; идеальная арка была освещена, и историческая архитектура Рима была разработана на основе принципа арки. Таким образом, в то время как Фесула, Тускулум, Сигния и множество других имеют свои греческие параллели, нет греческой параллели с *большой клоакой* Рима.

Затем, опять же, как мы уже намекали, эти примеры показывают, что остроконечная арка, просто как конструктивная форма, так же стара, как и круглая. Поскольку остроконечная арка стала ведущей чертой архитектурного стиля позже, чем круглая арка, мы склонны воображать, что форма по своей природе более поздняя, что она, должно быть, развилась из круглой, что тот, кто построил первую стрельчатую арку, должен был видеть круглые арки. И все же заостренная форма сама по себе столь же естественна, столь же вероятна для примитивного строителя. Действительно, мы могли бы почти сказать, что это было более вероятно. Первым шагом к возведению арки, несомненно, была бы установка двух камней, прислоненных друг к другу, и это гораздо легче привело бы к остроконечной арке, чем к круглой. Так получилось, что первые итальянские строители, чьи стремления к созданию арки были вполне успешными, были склонны к круглой, а не заостренной форме. Но если бы тускуланский или тиринфский инженер действительно добрался до сооружения, к которому он подошел так близко, архитектурный стиль со стрельчатой аркой в качестве важнейшей конструктивной особенности мог возникнуть в Лациуме или Арголиде за тысячу лет до того, как он действительно возник под властью сарацин.

Опять же, при рассмотрении этих вопросов мы должны тщательно воздерживаться от любых соблазнительных этнологических теорий, прежде всего от таких этнологических теорий, которые скрываются в опасном слове "пеласги". Никто не сомневается в тесной связи древнеитальянской и древнегреческой рас, связи более тесной, чем связь общего арийского происхождения. Но аналогии того же рода, которые можно увидеть в их более ранних постройках, можно увидеть и в ранних постройках рас, которые находятся гораздо дальше друг от друга. Если Тиринф находит свою лучшую параллель в Тускулуме, то Микене находит свою лучшую параллель в Нью-Гранге. Почти такие же стремления к арке можно обнаружить более чем в одной стране, находящейся за пределами европейского или арийского содружества, как, например, в разрушенных городах Центральной Америки. Аналогии в первобытной архитектуре отдаленных народов в точности соответствуют аналогиям в их оружии, одежде и обычаях. Они принадлежат к владениям мистера Тайлора.

Но, хотя останки в Тиринфе представляют особый интерес для изучающих историю архитектуры, они показывают также, как далеко первобытные инженеры продвинулись в научном изучении искусства обороны. Даже невоенный наблюдатель может хорошо разглядеть это с восточной стороны. Там возвышается то, что при взгляде изнутри, при прямом взгляде снаружи наблюдатель склонен называть башней. Но дело просто в том, что стена либо лучше

сохранилась в этом месте, либо с самого начала была выше. Здесь был один главный подход к крепости, и он охранялся тем, что на техническом языке полковника Лика называется пандусом. Единственным подходом к воротам был подъем, образованный передовой стеной, сделанной так, чтобы нападающий мог выставить свою незащищенную сторону перед защитниками форта. Это искусное фортификационное сооружение с почти совершенным люком и еще одним, следы которого сохранились на другой стороне, показывает, что первобытные инженеры, называйте их Киклопами или как-нибудь еще, продвинулись далеко за пределы простого механического нагромождения камней.

Стены, несомненно, огораживают только акрополь, первобытный город, подобный древнейшим Афинам, древнейшему Риму на Палатине. Насколько широко город мог распространиться по окружающей равнине, мы не имеем возможности судить. Мы не можем поверить, что Тиринф когда-либо стал великим городом, подобным Аргосу и Коринфу. Его название исчезает из истории слишком рано для этого. Но в Тиринфе, как мы также увидим в Микене, были верхний и нижний города внутри самой укрепленной ограды. Греческие антиквары называют более высокий уровень *катаφύγιον*, местом убежища, но это сильно укрепленная часть, к которой ведут подходы. Была ли это королевская цитадель, и была ли нижняя часть местом обитания других первых поселенцев до того, как город вообще распространился за пределы нынешнего акрополя? Полковник Лик осматривает военные объекты двух уровней, но мы должны помнить, что эти древние крепости, в отличие от современных фортов, строились не просто для нападения и защиты. Это были жилища человека, укрепленные потому, что они были жилищами человека. Можно было бы подумать, что вся первая группа поселенцев найдет убежище в этих стенах. На более высоком уровне находился король; остальная часть племени находилась ниже. За пределами их обороны мог возникнуть, а мог и не возникнуть *δῆμος*. В Риме и Афинах такое *δῆμος* действительно возникло и сделало историю Рима и Афин отличной от истории Тиринфа.

Как чудесно стоять под этими могучими стенами, возведенными из огромных блоков, которые кажутся слишком большими, чтобы их могли сложить смертные люди. Нигде больше предложенный ими ход мыслей не проявляется так сильно. На афинском акрополе есть блоки более грубые, чем в самом Тиринфе, но они скрыты великими произведениями более изысканных времен. В Микене стены, какими бы мощными они ни были, почти уступили место гробницам, воротам и сокровищницам. В Тиринфе стены, и только стены, кажется, говорят о днях его могущества. Тиринф поражал людей как *τεῖχιόεσσα* во времена Гомеровского каталога. Именно как *τεῖχιόεσσα* и только как *τεῖχιόεσσα* это все еще поражает нас.

Аргос.

Короткая поездка — мы все еще находимся в пределах региона, где возможно вождение — приводит нас из Тиринфа в Аргос, из разрушенного города к разрушителям. Контраст разительный. Аргос, несмотря на все изменения, всегда оставался местом обитания человека, и не только местом обитания человека, но и городом определенного значения, соответствующим

стандартам его собственного возраста и места. Современные Афины - искусственный город. Это город, который мог бы стоять где угодно в другом месте, построенный у подножия древнего акрополя и вокруг церквей Эйрене. Современный Аргос - это не искусственный город; он стал таким, какой он есть, в результате постепенного действия обычных исторических причин. Это показывает нам, каким оказался древнегреческий город, не разрушенный, не покинутый, не созданный искусственно, а предоставленный действию естественных обстоятельств, после долгих веков римского, венецианского, турецкого и восстановленного греческого владычества. Главное, что бросается в глаза западному глазу, - это то, как мало здесь примечательного. В современном городе нет ни одного примечательного здания, ни старого, ни нового. Современный собор велик и имеет некоторые претензии, но его с радостью обменяли бы на крошечную афинскую митрополию или на любую другую церковь подлинно византийского стиля и датировки. Сам город занимает большое пространство и содержит значительное население. Если не считать столицы и крупных морских портов, Аргос занимает высокое место среди существующих городов Греции. И все же для западного глаза он имеет неприятный, почти барский вид. Он грязный, неправильной формы, в нем нет ни западной опрятности, ни восточного колорита. Будучи старым венецианским владением, можно было бы ожидать, что святой Марк оставил здесь какой-то отпечаток своей деятельности, как он сделал это во многих подвластных ему городах. Если бы Аргос был таким же Трау, никто бы не жаловался, но, начиная с венецианца, Аргос видел турка, и этого достаточно, чтобы объяснить разницу. В новейшей истории Аргоса недостатка нет. Это была сцена важных событий во время войны за независимость, когда она несколько раз выступала в качестве общего места встреч Греции. Мы считаем, что это все еще процветающее место по своим собственным стандартам, но это не стандарт Западной Европы, равно как и не стандарт Сиры и Патр. И все же это заставляет нас задуматься, не выглядел ли город в Западной Европе пятьсот или шестьсот лет назад по-другому. В одном пункте разница действительно была. Ни один западный средневековый город с таким населением, как современный Аргос, не располагался бы на том же пространстве. Иными словами, современный город разбросан, несомненно, потому, что он представляет собой древний город гораздо большей протяженности.

Но объекты, которые придают Аргосу его главный интерес в глазах исследователя истории, объекты, свидетельствующие о существовании Аргоса в дни его величия, находятся за пределами современного города. Один, главный из всех, возвещает о своем присутствии издали. Аргосский акрополь, знаменитая Ларисса, огромная возвышенность, увенчанная цитаделью, которая из первобытной крепости превратилась в современный замок, является акрополем совсем в другом смысле, чем более низкий холм Тиринфа или даже чем Афинский. Название наводит на долгие размышления. Это Ларисса Аргосская. Сколько мест носят имя Ларисса? Сколько земель и городов носят имя Аргос? Перед тем, у кого есть вкус к пеласгийским спекуляциям, открывается широкое поле деятельности. Тот, кто держится в рамках записанной истории и таких традиций, которые, можно сказать, доказывают свою правоту, возможно, задумается, насколько сильно слава Аргоса является заимствованной. Аргос и аргейцы встречаются нам на каждой странице гомеровского повествования; они кажутся самыми знакомыми названиями Греции и греков до того, как у Греции и греков появилось общепризнанное общее название. Однако небольшое размышление покажет, что в большинстве мест, где они названы, нет непосредственной ссылки на местный город Аргос. Бретвальда Элладская правила многими островами и всем Аргосом. Что бы это ни значило, вряд ли это может означать что-либо, кроме всего Пелопоннеса; по крайней мере, это не может

означать местный Аргос, который не входил в состав его непосредственного царства. Предположить, что любое упоминание местного Аргоса было бы равносильно четвертованию карлинга в Париже или западносаксонца в Йорке. Но местный Аргос поступил с Микене подобно дикарю, который проглатывает глаз своего убитого врага, чтобы присвоить себе его силу, мужество и славу. Всего через несколько лет после падения Микены мы обнаруживаем, что аттические драматурги перенесли всю историю о линии Пелопса с ее собственного места в разрушающийся город. Путаница стала безнадежной. Аргос становится окруженным мифической славой, на которую он не имеет никаких прав. Название Аргоса вызывает множество ассоциаций, большинство из которых мы в первую очередь обязаны отогнать. Мы должны помнить, что Агамемнон — мы берем личное имя, чтобы выразить факт существования Микенской империи, — был владыкой местного Аргоса только в том смысле, в каком он был владыкой любого другого места на Пелопоннесе. Два соседних города были главами, как показывает нам Каталог, двух королевств странно неправильной формы, но сама форма которых является признаком того, что география подлинная. Ни один изобретатель не смог бы придумать ничего настолько непохожего на устройство исторической Греции. Аргос разрушил Микену и присвоил себе ее славу. Если мы сможем представить Париж и Лан — или, если еще смелее, Париж и Ахен — в пределах видимости друг от друга, и если мы сможем далее представить себе, что древняя столица правления не только лишилась своей истории, но и фактически стерта с лица земли более молодой столицей, мы получим прекрасную иллюстрацию того, что на самом деле произошло в случае Аргоса и Микены.

Однако у Аргоса есть своя собственная история, и это долгая и волнующая история, хотя ее редко можно назвать почетной, и такая, которая никогда, по современным сведениям, не ставит город в первое место наряду со Спартой, Афинами и, на мгновение, Фивами. В современной истории Аргос, по-видимому, в основном живет памятью о прежних днях, когда он действительно занимал такое место. И это одна из заслуг мистера Гроте перед теми частями греческой истории, которые лежат несколько за пределами досягаемости его главной силы: он ясно показал, что было время, когда Аргос действительно занимал первое место на Пелопоннесе. В "Илиаде" она является одним из трех городов, которые Гере больше всего нравились, но которые она могла вынести, увидев разрушение в качестве цены за то, что увидела свержение ненавистного Илиоса. Аргос там стоит в одном ряду со Спартой и Микеной. Когда настал день свержения, когда ахейское правление уступило место дорийскому, когда Аргос в более широком смысле стал Пелопоннесом, местный Аргос предстает как первая из трех главных дорийских держав, а Спарта и, уже не Микена, а Мессена — земля, а не более поздний город — как ее второстепенные союзники по игу. *Prima inter pares* среди них она постепенно уступает первое место Спарте и проводит остаток своих дней как греческий город, слабо отстаивая место, которое она потеряла. Во все эпохи греческой истории, во времена персидских, пелопоннесских, коринфских, македонских и ахейских войн, название Аргоса встречается нам на каждой странице, но летописи города нигде не украшены какими-либо выдающимися штрихами героизма или мудрости. Ее политика часто изолирована, часто труслива, почти всегда продиктована завистью к Спарте. В свои последние годы Пирр умирает под ее стенами, и она присоединяется к Лиге при вновь обретшем власть тиране. Но расстояние между Аристоммахом и Лидиадой может обозначать расстояние между Аргосом и первым из греческих городов, когда это название перешло от Аргоса, Спарты, Афин и Фив к Мегалополису, прародине ахейских государственных деятелей.

Несмотря на все это, Аргос - отличное имя. Непрерывное бытие, непрерывная история, от Гомеровского каталога до Войны за независимость, - это то, чем не могут похвастаться Мегалополис и даже Спарта. Спарта —*Лакедемония* в более позднем выражении — уступила место Мистре; современная Спарта - это новое и искусственное творение. Но Аргос, тот Аргос, который мы видим сейчас, с его причудливо выглядящими улицами, магазинами и открытыми пространствами, является, в непрерывной последовательности, городом Диомедес, городом Клеобис и Битона. Мы тщетно ищем храм, свидетельствовавший о сыновней почтительности Клеобиса и Битона, но Ларисса Диомедесская, *Аспис*— щит Аргоса, — который был взят штурмом последним Клеоменом, все еще стоит там. Огромный холм с разрушенными зданиями у подножия, с замком, содержащим пожары почти всех эпох на его вершине, со следами человеческой деятельности, покрывающими почти каждую ступеньку его крутых склонов, - все это сейчас совершенно пустынно, но они свидетельствуют об уроке того, что современный город, над которым они парят, является непрерывным преемником места обитания человека в доисторические времена. Аргосская Ларисса - это действительно акрополь, совершенно ничтожный в том, что касается творений природы, по сравнению с гораздо более низкой высотой первобытных Афин. Ни Парфенон, ни Пропиляя не венчали холм Аргоса. Природа этого места вряд ли позволила бы им стоять там, а если бы и могла, то они казались бы неуместными на этой горной вершине. Крепость, однако, существует, разрушенная и заброшенная; стены средневекового замка опираются на стены незаписанных дней своей обширной киклопической кладкой. Другие части основаны на кладке более поздней, но все же каменной кладке ранних эллинских времен, камнях, которые были там до того, как Аргос сочла своим интересом величайшую национальную опасность Греции - узнать, что ее герой Персей был предком вторгшегося варвара. Мы смотрим с высоты на современный город, на равнину, на залив, который отделяет аргоническую *Акте* от основной массы Пелопоннеса; мы отмечаем побережье, простирающееся к враждебной стране Лаконцев; мы созерцаем горные вершины центральной части полуострова, ограждающие дом той древней аркадской расы, которая хвасталась, что единственная среди греков никогда не меняла своего жилища. Там возвышается Артемидия, там возвышается седая вершина Крониона, ее заснеженный гребень не кажется неподходящим местом обитания престарелого бога, царствовавшего до Зевса и его детей. У подножия холма находится множество зданий, все заброшенные и разрушенные, свидетельствующие о многих переменах, произошедших в Аргосе, о многих мастерах, которые правили им. Здесь есть один фрагмент мощной древней ограды, странным образом сочетающийся со скульптурой римских времен. Здесь находится театр с рядами зрительских мест, вырубленных глубоко в склоне холма, театр, выходящий окнами на широкие просторы города, равнины, моря и гор. Почти у его подножия находятся руины тех дней, когда Аргос составлял часть подвластных земель города у Тибра, руины, которые указывают на их родство с термами Антонина и показывают нам во всей своей смелости великое строительное изобретение, к которому стремились люди в Тиринфе, но которому Греции, матери всех других искусств, пришлось учиться у своих римских мастеров. Мы смотрим на разбитый кирпичный свод римского здания, но если наш взгляд повернется немного вправо, мы вскоре увидим, что именно земли к востоку от Адриатического моря первыми научились придавать великому конструктивному изобретению Италии его благороднейшую форму и применять его по максимуму. Недалеко от римских руин стоит церковь византийских времен, которая достойно завершает серию. Формы, к которым люди нащупывали путь в порту Тиринфа и в сокровищнице Микене, достигли своего совершенства, когда архитекторы Востока научили купол, каким бы парящим или распростертым он ни был, возвышаться на своих поддерживающих колоннах над

центрами церквей Восточного христианского мира. Первобытная Греция стремилась к арке; историческая Греция, если она знала о ее конструктивном применении, ограничивала ее несколькими целями конструктивной полезности. Первобытная Италия стремилась, и стремилась с большим успехом, по тому же пути и сделала форму, которую Греция так робко использовала, жизнью своей национальной архитектуры. На римской земле арка переросла в купол, но именно на земле, которая была как греческой, так и римской, на земле Восточного полуострова, купол принял свою самую благородную форму. На Аргосской Лариссе было обнаружено несколько следов галерей, подобных галереям Тиринфа. Павсаний свидетельствует, что в Аргосе когда-то были подземные покои, подобные Микенским, и, несомненно, по той же конструкции. В Тиринфе и Микене серия не идет дальше; разрушающая рука Аргоса постановила, что дальше она идти не должна. Долгая жизнь Аргоса позволила каждому экспонату стоять здесь бок о бок, от галереи и сокровищницы до римской бани и византийской церкви. Однако по-настоящему изучить серию можно не в самом Аргосе. В жизни городов ничто так не сохраняет, как раннее разрушение, ничто так не разрушает, как непрерывная жизнь. Из представителей серии Argive совершенен только последний. Свод римской бани разрушен; галерею почти невозможно отследить; о существовании сокровищницы у нас есть только свидетельство путешественника семнадцатисотлетней давности. Именно среди жертв Аргоса раннее ниспровержение сохранило для нас произведения древнейших времен. В заброшенных Тиринфе и Микене мы узнаем о первых днях Греции больше, чем можем узнать в городе, который пережил их на двадцать три столетия. Мы размышляли о стенах, охраняемых воротах, перевалочном пункте Тиринфа; мы должны продолжить размышления о стенах, более мощных воротах, сокровищницах, разграбленных гробницах Микены, имперского города Эллады в ее первые дни.

Микенский акрополь.

Еврипид, возможно, был, в конце концов, не так уж неправ, как казалось насмешливому гению комедии, когда он ставил вопрос, не являются ли жизнь и смерть на самом деле вещами, поменявшими свои названия:

τίς οἱ δὲν εἰ τὸ ζῆν πέν ἐστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν ν δὲ ζῆν;

По крайней мере, очень часто так обстоит дело с городами; особенно это касается великих городов аргонийской земли. Аргос, как мы видели, если и не вымер совсем, то, по крайней мере, был низведен до такого образа жизни, который, судя по его древним стандартам, мог бы сойти за немногим лучшее, чем смерть. Его продолжающееся существование уничтожило почти все следы его древнего состояния в пределах контура, который все еще остается населенным. Таким образом, Аргос мертв, потому что он жил. Микене, с другой стороны, осталась жива, потому что она умерла. Если бы Микена оставалась правящим городом или даже местом обитания людей в любой форме на протяжении всех веков, прошедших с пятого века до Рождества Христова, мы бы не увидели, как видим сейчас, чем на самом деле был имперский город дома Пелопидов. Благодаря его счастливому разрушению, никогда не возникало работ

турок, венецианцев или римлян, которые могли бы нарушить ассоциации с первобытным городом. Даже труды тех, кого в Микене мы должны называть поздними греками, людей, живших там со времен дорийского нашествия до дней Перикла, исчезли, как будто их никогда и не было. Никакие колонны не возвышаются, как в Немее, над заброшенным местом; мы не встречаем ни одной могилы на обочине дороги, ни одной легенды, высеченной на скале, на которую мы натыкаемся, ступая по священному пути из Афин в Элевсин. Дом и стена, храм и башня были либо полностью сметены гневом аргивян, либо превратились в ничто с тех пор, как бич Аргоса прошел над преданным городом. Там, где когда-то были широкие улицы Микене, мы встречаем только пастуха с посохом, направляющего свое стадо, или крестьянку с пайонийским трудолюбием, орудующую прялкой, когда она собирает своих овец или коз на водопой. За гулом собравшихся горожан на *агоре*, за топотом собирающихся воинов на акрополе мы слышим только свирель самого пастуха и лай пастушьей собаки. Пастухи, которые бродят по Микене, возможно, не совсем соответствуют изображениям Феокрита или Вергилия, но посох, трубка, прялка - это здесь не фигуры речи. Их можно видеть и слышать ежедневно, когда солнце встает над глубоким ущельем, огораживающим Микенский акрополь, или когда оно "царствует" в еву над высотами Артемиды и Кроноса. Но даже эти немногие пастухи, в отличие от немногих жителей современного Коринфа, не живут на старом месте Микены и не заявляют, что носят микенское имя. У подножия нижнего холма, городского холма, в отличие от холма акрополя, небольшая церковь и несколько домов, которые, кажется, почти вырастают из каменистой почвы, образуют небольшую деревню, но не Микене, а Чорбати. И все же в каком-то смысле Чорбати стал Микене. Там, в небольшом музее, собраны менее великолепные и драгоценные реликвии, которые современные открытия выявили на микенской земле. И там также есть одна реликвия, вырванная из разграбленной гробницы на акрополе, которая для верующего человека должна быть более ценной, даже чем сокровищница и львиные ворота. Там лежит почти совершенный скелет, который те, кто попирает ногами сомнения и трудности, считают самими костями Агамемнона. Более осторожный греческий антиквар менее опрометчив в своих действиях. мистер Стаматакес, образованный и ревностный хранитель микенской сокровищницы, указывает на это с мудрой оговоркой. Остальная часть его объяснения дана на языке, похожем на его собственный и гомеровский. Но, чтобы выразить его сомнения, эллинские губы научились образовывать тевтонский родительный падеж. Он не связывает себя верой в то, что это кости "Агамемнона" в чистом виде; это кости "Агамемнона Шлимана". И все же у первобытной Эллады, первобытной Микены есть история, которая вполне может переживать как необоснованные сомнения, так и неискоренимую веру. Называйте его как хотите — Агамемнон или как угодно еще - имя не имеет большого значения. Это знаменательный момент в жизни человека, когда он смотрит на кости того, кто, без сомнения, был задолго до того, как Гекатей написал или даже до того, как Гомер воспел, владыкой многих островов и всего Аргоса.

Расположение акрополя в Микене сильно отличается от расположения любого из соседних акрополей в Тиринфе и Аргосе. Холм Тиринф - это просто насыпь на равнине. Более высокий холм Аргоса, хотя и намного превосходит горы позади него, все еще выделяется как примечательный объект. Но Микенский акрополь, хотя мы и находим его в некотором роде изолированным, когда мы приближаемся к нему, кажется форпостом гораздо более высоких холмов сразу за ним. С одной стороны скала отвесно возвышается над узким ущельем, известняковые скалы которого глазу, знакомому с Западом Англии, сразу наводят на мысль о ущельях Мендип и, прежде всего, о великом перевале Чеддер. На заре фортификационных

сооружений, когда не было никаких снарядов, которых следовало опасаться, кроме дротиков и стрел, крепость не считалась подвергающейся большей опасности из-за того, что ее таким образом игнорировали. Действительно, находиться под прикрытием высоких и неприступных гор само по себе было своего рода убежищем. Таким образом, Микенский акрополь стоит на скалах и среди холмов так, как этого не делают его собратья в Тиринфе и Аргосе. По той же причине он не выделяется так же, как объект, видимый издали. Его истинная форма и положение постепенно становятся понятны нам по мере того, как мы поднимаемся из современной деревни по тропинкам — тропинкам только пастуха и его стада, — которые теперь представляют собой широкие улицы любимого Гере города. Можно выбрать более одного пути, и каждый из них будет вести к одному или нескольким замечательным остаткам самого города, так называемым сокровищницам, в отличие от остатков акрополя. Но путь, по которому следует идти по собственному выбору, поскольку инстинкт путешественника, скорее всего, приведет его, — это тот, что правее всего, тот, что огибает ручей, сбегаящий из известнякового ущелья, и который приведет его к величайшим памятникам из всех, первому и второму сокровищницам. Но пусть сокровищницы немного подождут; они созданы, хотя и в незаписанные дни, но все же в дни гораздо более поздние, чем оборона самого акрополя. Сначала мы взглянем в самый центр всего, в центр, можно сказать, доисторической Эллады. И по мере того, как мы приближаемся, мы не можем не вспылать гневом против последнего первооткрывателя Микены. Доктор Шлиман преуспел в том, что он выявил; мы не можем думать, что он преуспел в том, что он скрыл. Когда мы приближаемся, высота и очертания большей части внешней стены акрополя совершенно скрыты, общий вид испорчен, пропорции всей работы прискорбно нарушены, потому что доктор Шлиман решил выбрасывать мусор, который он выкопал из гробниц, везде, куда попадал свет. По большей части он перебросил его огромными кучами через стену, из-за чего действительно большая часть хода стены скрыта, а весь вид размыт и сбит с толку. Небольшие хлопоты могли бы предотвратить это поначалу; еще немного хлопот, и теперь можно было бы избавиться от мусора. При последних раскопках в Афинах были предприняты гораздо более тщательные меры. Весь мусор был вынесен и свален в кучи, где он не причинит вреда. Если в грядущие времена эти кучи вырастут в холмы, подобные “*mons testaceus*” в Риме, никакого вреда не будет причинено, и будет создан странный маленький кусочек истории. Но кучи мусора доктора Шлимана серьезно портят общее впечатление от микенского акрополя. Из-за них трудно понять реальную линию стен, пока мы не подойдем к ним совсем близко. Среди скал и стен, стен, вырастающих из скал, мы видим нечто, что не является ни скалой, ни стеной, но что путает очертания того и другого; когда мы подходим ближе, мы обнаруживаем, что это бывшее содержимое царских гробниц и других работ, обнаруженных внутри стен. Как и в Тиринфе, в самом акрополе есть более высокая и более низкая, внутренняя и внешняя крепости. Но большая высота Микенского холма делает это расположение гораздо более заметным, гораздо более эффективным, чем в Тиринфе. Только в Микене нижняя ограда больше напоминает нарост или придаток, чем нижняя ограда Тиринфа. Но именно эта нижняя ограда, ограда, в которую сразу попадают знаменитые львиные ворота, которые, независимо от того, являются ли они дополнением к крепости наверху или нет, стали главным центром ассоциаций этого места. Там лежат пустые гробницы, оттуда пришли чудесные сокровища, которые вернули нас в глубины того, что мы можем справедливо назвать доисторической историей, которые заставили нас встать лицом к лицу, если не с личными героями Гомера, то по крайней мере с людьми той эпохи эллинской культуры, которую песни Гомера открывают перед нами.

Здания Микене описывались снова и снова, пока их общее впечатление не стало почти таким же знакомым тем, кто их не видел, как и тем, кто видел. Но здесь, как и везде, это чисто художественный характер, который можно уловить на расстоянии. Чтобы почувствовать Микене, как и любое другое место, мы должны увидеть его. И даже некоторые художественные моменты, как обычно, можно досконально разобрать только на месте. Нужно хорошенько осмотреть это место, чтобы понять огромную разницу между каменной кладкой и художественной отделкой львиных ворот и двух главных сокровищниц. Львиные ворота - мы имеем в виду сами ворота, в отличие от львиных, — это просто нагромождение камней. Работа выполнена, несомненно, с большим механическим мастерством, и она производит тот чудесный эффект, которым обладают все подобные примитивные постройки; тем не менее, она совершенно лишена каких-либо претензий на искусство. Но в проходах сокровищниц, вместо огромных прямых косяков львиных ворот, мы находим хорошо обработанные каменные ряды в двух рядах, с чем-то, что почти можно назвать лепниной. У этих ворот тоже были колонны. К несчастью, почти все исчезли, даже драгоценный фрагмент, который видели и нарисовали более ранние путешественники. Это последнее, следует помнить, было такого рода, которое не выглядело бы неуместно в любом романском здании в Англии или Нормандии. Это весьма поучительный факт, поскольку сходство, должно быть, было чисто случайным; и это может послужить нам напоминанием о том, что существуют такие вещи, как случайное сходство, и предостеречь нас от поспешных выводов, когда такие сходства обнаруживаются во времена и в местах, очень удаленных друг от друга. Во второй сокровищнице, недавно обнаруженной доктором Шлиманом, есть фрагмент другой колонны, уже не на своем месте, который выглядит как первая грубая попытка создания более позднего дорического стиля. Теперь над обоими этими воротами, а также над львиными воротами, есть отверстия одинаковой треугольной формы, хотя, конечно, в сокровищницах они выполнены гораздо тщательнее, чем в львиных воротах. В сокровищницах эти отверстия - просто отверстия; в настоящее время они ничем не заполнены. Тот, что над львиными воротами, заполнен, как известно всему миру, базальтовым камнем, который выглядел бы более естественным в Бамбурге, чем в Микене, с вырезанными на нем знаменитыми львами, если это львы, которые охраняют колонну, которая не показалась бы неуместной в *дуомо* во Фьезоле, в апсиде *La Couture* в Ле-Мане или даже в *слайпе* в Вустере. Можем ли мы поверить, что львиные ворота и львы, что львиные ворота и ворота сокровищниц датированы одним и тем же временем? И в момент работы львы сразу же соединяются с воротами сокровищниц, а не с воротами, над которыми они стоят. Несомненно, в этих проходах мы имеем признаки постоянного типа, который пережил несколько стадий развития искусства. Над квадратными воротами по какой-то причине должно было быть треугольное отверстие, несомненно, предназначенное для заполнения камнем собственной формы. В сокровищницы этот камень либо никогда не клали, либо он пропал. В "Львиных воротах" это было сделано, как нам кажется, когда искусство миновало стадию, представленную самими львиными воротами, и достигло стадии, представленной воротами сокровищниц.

Напрашивается еще одна мысль. В Микене, как и менее отчетливо в Тиринфе, львиные ворота с их искусно охраняемым входом ведут не сразу в верхнюю ограду акрополя, а во внешнюю и нижнюю. Указывает ли это вообще на то, что эта внешняя ограда, по крайней мере, в Микене, была дополнением к примитивной крепости всех времен - ограждению в верхней части холма? Тот факт, что гробницы были найдены в нижней части ограды, также выглядит подобным образом. Должно быть, было время, когда эта земля рассматривалась как находящаяся за пределами города, иначе ее вряд ли использовали бы для захоронений. Аргумент не доходит до

полной демонстрации; захоронения в стенах не были абсолютно неизвестны даже в исторической Греции, и, возможно, небезопасно переходить от исторической Греции к первобытной. И все же эти два аргумента настолько совпадают, что, по крайней мере, наводят на мысль о том, что во внутренней оболочке мы имеем нечто еще более древнее и почитаемое, чем все остальное, — нечто, что, возможно, было древним и почитаемым не только во времена Гомера, но и во времена тех, чью историю поведал Гомер.

В настоящее время мы находимся в пределах акрополя, в старом городище на холме, которое образует внутренний круг Экбатаны имперских владык доисторической Эллады. Мы стоим здесь, внутри стен, которые поражали умы стольких поэтов Греции в те дни, когда их запустение было делом вчерашнего дня, — стен, которые казались слишком мощными, чтобы быть делом рук смертных, и которые, как и их собратья в других местах, считались созданными теми же руками, которые ковали громовые зассовы Зевса. Здесь мы можем, по правде говоря,

Φάσκειν Μικήνας τὰς πολυχρύσους ὀρεῖν, πολύφθoron τε δῶκα Πελοπίδων τόδε—

и мы можем предположить, что дом Пелопидов был чем-то новым, выросшим в тени циклопических стен. Эта внутренняя крепость вполне могла быть для микенской империи гомеровских времен тем же, чем Римская площадь на Капитолии была для Рима, правившего всей Италией. Но в гомеровском рассказе нет ни слова, заставляющего нас думать, что эта империя была владычеством иностранных князей или что патриарх Пелопидов был кем-то иным, кроме как сыном полуострова, которому раса дала свое название. С акрополя можно посмотреть вниз на ограду, за которой находятся разграбленные гробницы, на пространство за ее пределами — на место широких улиц Микены, — где хранятся сокровищницы, и так далее, вплоть до разрушенного Аргоса и Тиринфа, товарища по несчастью. Нет другого места, где нас уносило бы так глубоко в незаписанные эпохи и где незаписанные эпохи рассказывали бы свою историю так ясно. Но рассказа об акрополе, даже рассказа о внутренней крепости, на какое-то время достаточно. Гробницы нижней ограды, сокровищницы внешнего города, если это сокровищницы, могут предоставить свои собственные материалы для отдельного размышления.

Сокровищницы и сокровищницы Микене.

О сокровищницах Микене мы слышали всю нашу жизнь; сокровища стали известны только после того, как раскопки доктора Шлимана выявили их. Названия, возможно, неудачные, поскольку для тех, кто не видел этого места, они могут натолкнуть на мысль о связи между сокровищницами и сокровищницами, которой на самом деле не существует. Сокровища были найдены не в сокровищницах и даже не в той части города, где располагались сокровищницы. Сокровища поступают из гробниц, и все открытые гробницы находятся во внешней и нижней частях акрополя. Сокровищницы, одна из которых издавна известна, находятся совсем за пределами акрополя, в том месте, которое, должно быть, было внешним городом, среди

широких улиц Микене. Слово “сокровища” опять-таки может натолкнуть на ложное представление. Предметы, брошенные в могилы в знак уважения к умершим, вряд ли можно назвать “сокровищами” в обычном смысле этого слова. Сокровище - это нечто, что может быть использовано для использования; предметы, которые бросают в могилы, по сути дела, никогда не предназначены для повторного использования. Но каким бы именем их ни называли, они есть; останки великой эпохи, эпохи, которую, хотя и недоступную хронологии, мы вряд ли можем назвать незаписанной. Хотя великие произведения Микене явно датируются разными датами, все же в общем можно сказать, что все они принадлежат к одному периоду — периоду, какой бы продолжительной он ни была, каким бы удаленным от нас он ни был, когда Микене был главой Эллады. Предметы, найденные в гробницах, должны относиться к какому-то этапу того периода. Достаточно сказать, что это произведения того периода, который был у Гомера перед глазами, когда он воспевал передачу скипетра следующим поколениям дома Пелопса, дома незнакомого в его песне. Пытаться приписать гробницы, скелеты, украшения конкретным людям - опрометчиво. И, с другой стороны, вряд ли пришло время для тех, кто придерживается общего взгляда на историю, выносить какие-либо решительные суждения относительно места, которое занимают эти предметы в истории искусства, или относительно их отношения к предметам, найденным в других странах. Хорошо, что специалисты еще некоторое время будут заниматься этой отраслью предмета. Какой-то новый свет, несомненно, прольет на этот вопрос находка, которая только что была сделана в Аттике. Когда все эти моменты будут тщательно проанализированы, историк будет рад принять полученные результаты. Как бы то ни было, ему достаточно того, что здесь находятся могилы микенских владык Эллады, что здесь находятся предметы, которые по вероучению их дней считались подношениями в знак уважения к умершим.

Помимо области, которую эти объекты открывают для более непосредственного изучающего искусство, они открывают также область, представляющую едва ли не больший интерес для историка обычаев. Способ избавления от мертвых, по-видимому, был странным компромиссом между сожжением и захоронением. Если мы правильно понимаем процесс, тела были помещены в гробницы; затем они были наполовину сожжены; наконец, на них были надеты маски, и могилы были заполнены вазами и другими предметами. Здесь действительно есть работа для мистера Тайлора и любых других работников в этой области. Эффект от масок замечательный. Являются ли они действительно подобиями или нет, мы принимаем их как таковые, когда смотрим на них; мы чувствуем, что оказываемся в более непосредственном присутствии людей древности, чем даже при виде скелета. Физически настоящие кости этого человека, скорее, являются частью его самого; но мы действительно чувствуем себя ближе к нему, когда видим тонкую оболочку, которая лежит на его лице и которая, по крайней мере, утверждает, что хранит отпечаток его черт. Мы не осмелимся называть его Агамемноном или каким-либо другим именем. Мы смотрим, по крайней мере, на то, каков был бы облик одного из тех, кому наш Альфред с такой радостью присвоил имя будущих цезарей, на того, чье историческое положение лучше всего прояснится для нас, если мы назовем его на языке Альфреда Бретвальдой первобытной Эллады.

Украшения и другие предметы были описаны и обсуждены снова и снова теми, у кого есть особый объект для изучения. Но среди них есть один, который, насколько мы помним, не описывался ни в одном из опубликованных отчетов, и который, если о нем уже упоминалось,

несомненно, заслуживает упоминания снова. Из всех предметов, которые находятся под опекой мистера Стаматакеша и которые он так полно и ясно объясняет всем, кто может следить за ним, на его родном языке, нет ничего более любопытного само по себе, ничего, что говорит нам более непосредственно, чем те кусочки тонкой позолоты, которые были найдены в одной из гробниц над грудью одного из женских тел и которые, будучи сложенными вместе, образовали законченную фигуру маленького младенца. В этом нет ничего замечательного. Царственный младенец — *клитункул*, как называли бы его некоторые из наших хронистов — возможно, умер в Микене и был похоронен рядом со своей матерью, а также где-нибудь еще. Но вид отпечатков маленьких конечностей, кажется, ближе знакомит нас с домашней жизнью этих древних королей, чем любой другой предмет во всей коллекции. Критика на мгновение замолкает; мы более склонны, чем обычно, прислушиваться к голосу легенды, когда нам говорят, что мы смотрим на маски Кассандры и ее ребенка. Ни гомеровская, ни эсхиловская история никогда не заставили бы нас приписывать детей Кассандре; но местная традиция времен Павсания показывала могилы сыновей-близнецов Кассандры и Агамемнона, убитых и похороненных вместе со своими родителями. В порыве нашей веры мы даже откладываем в сторону очевидный вопрос: где маска другого брата? Легенда, несомненно, ошибалась; во всех случаях, когда какой-либо тиран стремится уничтожить пару братьев-близнецов или младших братьев любого рода, одному из них, будь то в истории или в легенде, удастся спастись и остаться в живых. В нашей собственной истории одиннадцатого века две дважды овдовевшие матери остались с детьми-близнецами, и за каждой парой охотились айгистос их собственного времени. Из первоначальных “клитункулов”, младенцев-близнецов Эдмунда и Элдгит, оба действительно были спасены, но выжил только один. Из второй пары, младенцев Гарольда и второй Элдгит, один попал в руки Завоевателя, спасенный в его руках от смерти, хотя, возможно, ему предстояло влачить жизнь только в темнице; другой выжил, чтобы тенью появиться на флоте Магнуса. И пока мы верим, мы можем на мгновение поверить, что из более поздней пары принцев один сбежал и что Перкин Уорбек действительно был Ричардом Четвертым. Микенская традиция, должно быть, допустила ошибку, хвастаясь гробницами как Пелопса, так и Теледамоса. Одного, должно быть, унесли вместе с Орестесом, его сводным братом. Впечатление от формы другого человека из кованого золота, на мгновение мы позволим себе поверить, что видели это наши глаза.

Но, оставляя мечты и аналогии, оставляя также строго научное рассмотрение объектов как произведений искусства, картина, которую они дают нам о состоянии вещей в эпоху, к которой они принадлежат, прекрасна и интересна неопишимо. Мы действительно живем в эпоху Гомера, в эпоху золота и бронзы, когда, если мы не можем строго сказать вслед за Гесиодом, что черного железа еще не было, мы можем, по крайней мере, сказать, что оно вообще не смогло вытеснить древний металл. Мы видим перед нашими глазами то обилие золота, традиция которого сохранилась в столице Пелопидов даже во времена трагиков и заставила Софокла говорить о Микене как о *πολυχρύσος*. Действительно, немного неприятно видеть, как сами гробницы разграблены, а наиболее ценную часть их содержимого увозят в далекие Афины. Просто из чувства юмора мы могли бы сказать о старом короле, чей скелет хранится в музее: “Оставьте его в покое, не позволяйте никому шевелить его костями”. У нас могло бы возникнуть искушение пожелать, чтобы сами сокровища остались в состоянии

Aurum inrepertum, et sic melius situm

Cum terra celat.

Но, не обшарив таким образом могилы мертвых, мы бы никогда не узнали, что там были мертвые и их сокровища. Когда гробницы были вскрыты, сокровища нельзя было оставлять в них; и если их вообще нужно было унести, то лучше всего было перевезти их в столицу страны. В других случаях мы могли бы ходатайствовать за столицу округа, но в данном случае мы не могли допустить, чтобы Аргос одержал еще одну победу. Мы должны забрать реликвии такими, какие они есть, на их новом месте, под наилучшей опекой. Но каким, должно быть, было это мгновение - стоять у самих гробниц, когда они впервые были обнаружены!

От сокровищ, которые, возможно, правильнее назвать реликвиями, давайте обратимся к сокровищницам. Что это было? Гробницы, сокровищницы или что еще? Во времена Павсания они явно считались сокровищницами. His words are explicit:—Ἀτρέως καὶ τῶν παίδων ὑπόγαια οἱ κοδομήματα, ἔνθα οἱ θησαυροὶ σφίσι τῶν χρημάτων ἦσαν. Он демонстративно отличает их от гробниц Атрея и тех, кто погиб вместе с Агамемноном по его возвращении, в том числе Кассандры и ее младенцев. Эти гробницы вряд ли могут не быть теми гробницами, которые были недавно обнаружены, хотя из рассказа Павсания мы вряд ли узнаем, что гробницы находятся во внешнем кольце акрополя, в то время как сокровищницы находятся во внешнем городе вообще. Сокровищницы — по крайней мере, великая из них, известная как Сокровищница Атрея, — описывались и гравировались снова и снова. И все же, когда мы наконец оказываемся перед воротами, когда мы входим внутрь и оказываемся под могучей крышей, происходящее не становится менее чудесным оттого, что мы подходим к нему как к старому другу. Ощущение знакомости здесь сильнее, чем в случае со львиными воротами. Об этом последнем мы можем знать каждую деталь, но, конечно, ни одна из обычных гравюр, едва ли даже лучшие и новейшие фотографии, которые можно найти в Афинах, не могут полностью передать нам его особый эффект в том положении, в котором он стоит. Мы знаем, что сокровищницы представляют собой подземные сооружения— возникает сильный соблазн сказать "хранилища" или "купола", — и у нас есть общее представление о том, какими они должны быть. Но наши предыдущие знания ничего не умаляют в ощущении приближения — той части, которую менее всего выявляют обычные виды; и тот факт, что здание - это то, что мы так давно знали и думали о нем, что оно является целью долгожданного паломничества, вызывает чувства столь же сильные и пронизательные, хотя и совсем другого рода, как те, которые возникают в результате акта открытия. И, в конце концов, самое лучшее изображение не может полностью донести до нас такие черты, как могучий камень, закрывающий вход в великую сокровищницу. Откуда он взялся? кто его поднял и зачем? Было ли это гордой демонстрацией простого механического мастерства со стороны людей, чьи работы показывали, что они продвинулись далеко за пределы простого механического мастерства? Наши мысли уносятся за море к еще более могучему камню, под которым когда-то лежал Теодорих. В обоих случаях, в эпоху, когда конструктивное искусство медленно нащупывало свой путь, и в эпоху, когда конструктивное искусство достигло почти высшей стадии, имеет место демонстрация простой мощи, когда тот же результат мог бы быть достигнут более простыми средствами. Не было абсолютной необходимости искать и поднимать такой огромный блок, как тот, под которым мы проходим в великую сокровищницу. Еще меньше было необходимости перевозить эту гигантскую глыбу через море из Истрии, когда Теодориха можно было так же легко накрыть куполом обычной конструкции, как Галлу Плацидию.

Мы входим. Нужно приложить некоторое усилие веры, чтобы поверить, что эта крыша, так искусно сложенная из камней, которые почти разгадали секрет истинного купола, когда-то была покрыта медными пластинами — что мы действительно находимся в том, что когда-то было

одной из медных комнат, о которых рассказывают нам поэты. С одной точки зрения, мы можем быть рады, что они исчезли, так как в противном случае мы не смогли бы так хорошо изучить это замечательное сооружение. Когда мы стоим в сокровищнице Микене, это такой же важный момент в процессе конструктивного изучения, как и когда мы стоим в перистиле Спалато. Каждый из них знаменует собой большой шаг в истории искусства. В одном мы видим, как люди могли приблизиться к арочному сооружению, фактически не достигнув его. В другом мы видим совершенную конструкцию, впервые примененную для высочайшего художественного применения. Но Спалато - прямой прародитель всего, что последовало за ним. Микене - прародитель ничего. То, что искусство первобытной Греции остановилось там, где оно остановилось, несомненно, указывает на какую-то великую революцию, на какое-то свержение более цивилизованных людей менее цивилизованными. Во всех этих ранних постройках мы находим только арочную конструкцию, не доведенную до совершенства. В художественной архитектуре исторической Греции арка или какой-либо подход к ней как к художественному произведению были совершенно неизвестны. Внешне он почти не используется здесь и там, в работах, которые не претендовали на звание произведений искусства, где этого требовала простая конструктивная необходимость.

Любому, кто знаком с ирландскими останками, сокровищница Микене не может не предложить Нью-Грейндж. Основная конструкция двух работ одинакова. Но здесь снова приходит всегда необходимое предупреждение. Все, что действительно доказывает несомненное сходство, - это то, что одна и та же стадия строительного мастерства была достигнута, возможно, в далекие друг от друга времена, в Ирландии и на Пелопоннесе. Это не доказывает и даже не предполагает какой-либо более тесной связи, чем эта. В противном случае, никакая область не могла бы быть более заманчивой для этнолога-мистика. Разве в Арголиде не было данаев? И не было ли в Ирландии также народа с именем, очень похожим на данаи, но которое мы не будем пытаться произнести, не имея под рукой ирландской библиотеки?

Сокровищницы, как говорит Павсаний, находятся под землей, вырытые на склоне холма. Есть что-то очень необычное в произведении такого рода, произведении реального строительства, в такой же степени, как и все, что когда-либо строилось над землей, произведении, которое не имеет ничего общего с высеченными в скале гробницами, храмами, храмовницами или домами, спрятанными так, что путник, который не был начеку, мог пройти мимо незамеченным. Была ли целью поисков укрытие или безопасность? Тогда почему они не были сделаны в укрепленном акрополе, а не посреди внешнего города? И, будь то гробницы, будь то сокровищницы или что-то еще, почему их было так много и так разбросано? Всего было подсчитано пять. Один из них, наиболее сохранившийся после великого, был если не обнаружен на самом деле, то, по крайней мере, более полно раскрыт во время исследований доктора Шлимана. Крыша проломлена, так что в нее можно заглянуть сверху; но вход такой же совершенный, как и в великую сокровищницу. Здесь найдена квазидорическая колонна, признак, возможно, более поздней даты, чем великая. Остальные колонны частично опущены, частично загромождены. Огромный камень ворот, таким образом приближенный к земле, во многом напоминает кромлех. Вряд ли нужно говорить, что по механической конструкции кромлех и партенон совершенно одинаковы.

Вот некоторые из мыслей, которые давят на разум, когда мы гуляем там, где когда-то были широкие улицы Микене, богатые золотом. Другого подобного места нет. Это нечто - стоять среди храмов Посейдонии, стоящих почти идеально внутри эллинских стен, в то время как

остатки римского Пестума приходится искать вокруг них. Это что-то особенное - стоять на акрополе Ким и чувствовать, что само его запустение как бы вернуло все к их древнему состоянию. Но в Микене храмы Посейдонии казались бы современными. Они казались бы такими же неуместными, как римский амфитеатр в Посейдонии. Они, подобно им, говорили бы об иностранном вторжении и иностранных завоеваниях, о вторжении дорийцев, а не о вторжении римлян. В Микене не только нет никаких следов более поздних времен, македонских, римских, франкских, турецких; сметены сами произведения дорийцев. Там есть город Пелопид, и только город Пелопид. Аргивянин смел памятники своих сородичей; он оставил памятники древней расы. Здесь нет ничего, что могло бы потревожить, ничто не отвлекало бы нас от мыслей о первобытных временах, и ни о каких других. Рядом с Микене сам Ким кажется современным, как Посейдония кажется современной рядом с Кимом. Колония далеко на итальянском берегу, с акрополем, возвышающимся почти прямо над морем, возникла на много стадий позже, чем акрополь, приютившийся среди внутренних гор самой Эллады, с морем, которое несло столько опасностей, как простой отдаленный объект в пейзаже. Работы в Микене не являются реликвиями ни описанного, ни неизвестного времени; они являются реликвиями времен, предшествовавших истории, но дней, историей которых они сами являются. Мы можем еще раз предупредить: не следует упоминать имена и даты. Достаточно того, что камни были сложены, золото отковано, львы вырезаны в базальтовых плитах, скелет, на который мы смотрим, был похоронен со странными обрядами людьми той расы и эпохи, изображение которых живет в древнейших и благороднейших песнях европейского человека. В Микене мы достигли очага и колыбели всей Эллады; мы достигли очага и колыбели всей Европы. Там мы можем возблагодарить за те светила современной науки, которые учат нас чувствовать, что в этом очаге и колыбели мы не совсем чужие. Там мы можем почувствовать, что происходим из одного и того же рода предков, что мы говорим на одной и той же форме языка предков, что у нас есть своя доля в родовых институтах, которые общие предки греков и германцев принесли из общего дома. На чудеса Египта и Ниневии мы можем взирать с простым изумлением; к ним и их создателям мы не имеем никакого отношения. В Микене, глядя на скелет императора, мы можем сказать: "Этот человек - наш ближайший родственник". В этих стенах "Слово об Агамемноне" и "Слово о Беовульфе" кажутся строфами одной и той же поэмы. Мы можем сказать нашему собственному Путешественнику на нашем родном языке:

Середина Творческого пути,

И мид-Касере,

Сей вин-бурга

Геалд алте.

Нигде больше останки времен, одновременно столь знаменитых и столь далеких, не предстают перед нашими глазами с такой полнотой жизни. По правде говоря, на земле нет места, подобного этому.

Микене - в Коринф.

Микена и Тиринф преподали нам урок истории тех греческих городов, которые погибли в те времена, которые мы привыкли считать все еще древними. Аргос дал нам один из типов греческого города, который пережил все изменения вплоть до наших дней. У Коринфа, города едва ли менее известного, чем Аргос, а с некоторых точек зрения даже более известного, была еще одна судьба. После полной гибели и возрождения Коринф пережил все последующие изменения вплоть до недавнего времени, уступив место в недавнее время новому городу, носящему его собственное имя. И на пути, который ведет нас из Микены в Коринф, мы проходим мимо места другого рода, места, которое никогда не было городом, но которое было столь же знаменитым и почитаемым в эллинских легендах и эллинской религии, как любой город не самого высокого ранга. Олимпия еще далеко, но предвкушение Олимпии вполне можно ощутить на равнине, освященной малым праздником, под колоннами Немеи, рядом с ее разрушенной церковью.

Но как добраться до Немеи? Возможно, это дань древнему величию Микене, что именно там цивилизация в одной важной отрасли, можно сказать, подошла к концу. Из Науплии путешествие через Тиринф и Аргос можно совершить в экипаже; но нельзя сказать, что последняя часть пути от Аргоса до Микены сделана в соответствии с принципами щебеночного покрытия. Действительно, мы думаем, что можно было бы продвинуть драйв немного дальше, чем Микене, или, говоря точнее, чем Чорбати. Но поскольку такая поездка не привела бы путешественника к какой-либо конкретной точке и поскольку он, конечно же, не мог продолжить ее до Коринфа, мы можем сказать, что каретная дорога заканчивается в Микене. Микене - последний пункт, который путешественник может осмотреть при таком способе путешествия. В Чорбати он начнет свое настоящее греческое путешествие. Ему придется следовать обычаям страны настолько далеко, чтобы путешествовать в составе кавалькады на одной из местных маленьких и выносливых лошадок, которые, похоже, так же, как и их проводники или погонщики, способны делать все, что угодно, и ничего не есть. Однако, возможно, он не настолько соответствует местной моде, чтобы самому превратиться в сверток на спине своей вьючной лошади и сидеть там, свесив обе ноги с одной стороны. Такой способ передвижения, помимо прочего, что можно сказать против него, имеет тот очевидный недостаток, что он вынуждает путешественника иметь односторонний взгляд на местность, по которой он проезжает. Отправляясь в путешествие, в котором путешественнику приходится брать с собой все необходимое, он вряд ли забудет взять с собой и европейские седла. Но даже с европейским седлом нужна спокойная голова и хорошее владение верховой ездой, чтобы охватить большую часть пейзажа или вызвать многие из его ассоциаций, когда вы, на самом деле, не “карабкаетесь вверх”, как генерал Вулф, а, если быть точным, “карабкаетесь вниз”

... Грубые изрезанные скалы

Совсем рядом с перпендикуляром.

Карабкаться вверх - это достаточно хорошо; трудности возникают вместе с карабканьем вниз. Легко убедить свой интеллект в том, что на самом деле никакой опасности нет, что животное, на котором ты сидишь, совершенно несправедливо называемое *ελλοῦον*, прекрасно знает, что делает, и намного мудрее, чем *ζῶν λογικόν*, которого он несет. Отдать ему голову и позволить

идти туда, куда ему заблагорассудится, - это веление здравого смысла; но бывают моменты, когда здравый смысл не будет услышан. В такие моменты путешественник начинает жалеть, что он не похож на Фидиппида, которого по праву называют щадящим лошадей и не щадящим собственных ног, для которого путешествие из Микены в Коринф явно было бы не более чем приятной утренней прогулкой. Или еще лучше было бы, если бы дни Павсания могли вернуться, поскольку действительно есть справедливая надежда, что они скоро вернуться, и что всю дорогу от Науплии до Коринфа снова можно будет пройти с помощью колес. Молодым и предприимчивым кажется, что новизна и грубость способа передвижения имеют свои прелести. Путешественнику, более продвинутому в жизни, было бы приятнее даже передвигаться своими ногами, и он мог бы подумать, что было бы еще лучше, если бы он мог наслаждаться восточной роскошью путешествия

ἔφ' ἄρμαξιῶν μαλθακός κατακείμενοι.

Однако одно можно сказать наверняка — земля без гостиниц во всех отношениях лучше, чем земля с плохими гостиницами. Путешествующий отряд обеспечивает себя сам и берет с собой все необходимое для жизни, а также некоторые удобства. Удивительно, как коротко и основательно можно создать спальню и хорошо обставленный обеденный стол как бы из ничего. Возможно, было бы лучше не задаваться слишком подробными вопросами о том, что происходит с гостеприимными жителями, которые с такой готовностью уступают дорогу незнакомцам. Несомненно, что для местной части путешествующего отряда, разумной или неразумной, подойдет любое жилье на ночь. Один момент, однако, вызывает протест; если человек предпочитает смотреть на свою фустанеллу и другие предметы одежды как на неотъемлемую часть самого себя, это его личное дело; но трудно обращаться с неразумным животным так, как если бы его вьючное седло было его неотъемлемой частью, и не давать ему покоя от бремени ни днем, ни ночью. Что касается самого путешественника, он, конечно, не стал бы менять плату за проезд, возможно, он не всегда стремился бы обменять жилье, которое он снимает для себя в музее в Микене или в доме единственного священника павшего Коринфа; на те, которые он мог бы получить в некоторых странах, где, поскольку есть постоянные дворы, люди не берут с собой все.

Кавалькада покидает Чорбати, чтобы направиться в Коринф через Немею. Павсаний предлагает на выбор маршруты; выбран тот, который он называет τριτόδ, который он описывает как узкий, но проходимый для экипажей. Она достаточно узкая и вполне заслуживает своего названия как расщелина в скалах, но следы колес показывают, что когда-то этим путем проезжали экипажи. Мы находимся между Коринфом и Аргосом, а не между Фивами и Дельфами; но мы вполне можем представить себе трудности и вероятность ссоры, если Лайос и Ойдипус встретятся в таком затруднительном положении, как это.

Мы проезжаем дальше по земле, на которой пятьдесят пять лет назад происходила одна из самых ожесточенных битв Войны за независимость. Каждый из перевалов, каждая из высот были удержаны и мужественно отстаивались в августе 1822 года, когда жители Пелопоннеса нанесли полное поражение турецкому войску Драмали. На нашем непосредственном пути земля поднимается и опускается, но мы не поднимаемся ни на какие особенные высоты, пока, когда мы спускаемся, перед нами не открывается равнина Неми. Колонны возвышаются во всем величии одиночества. За ними возвышаются холмы, в которых древние разместили

пещеру немейского льва. Таким образом, это одно из мест панэллинской религии и панэллинских праздничных собраний. Если его слава не достигла Олимпии, Дельф или даже Перешейка, то это первый из четырех городов, к которым ведет наше путешествие, и мы помним, что немейские победы вызвали песнь Пиндара и что Алкивиад не побрезговал ни одерживать там триумфы, ни запечатлевать эти триумфы в лучшем скульптурном искусстве своего времени. На равнине находится храм, равнина, хорошо приспособленная для проведения игр, и, вырезанная в одном из холмов справа, как в Аргосской Лариссе, мы видим место, где когда-то находился театр в Немее. Хотя это место вряд ли относится к числу достопримечательностей, представляющих первостепенный интерес, хотя оно не вызывает таких первобытных ассоциаций, как Микене, которую мы оставили, и таких более поздних ассоциаций, как Коринф, в который мы направляемся, на равнине Немей есть о чем поразмыслить. Легенда о льве вспоминается нам еще сильнее после того, как мы увидели скульптурные формы, которые мир согласился называть львами в Микенском акрополе. Наука и стипендия, идущие рука об руку, пробудили в нем новый интерес. Лев, чью пещеру мы не можем видеть, хотя мы видим склон горы, в котором она выдолблена, может быть мифическим персонажем собственной персоны, но он не просто вымышленное создание. Если вместе с мистером Докинзом мы проследим отступление льва из Европы, то увидим в Немее один очень важный этап его отступления. Мы прослеживаем его путь с того дня, когда он устроил свое логово в пещерах Мендипа, до того дня, когда Геродот так точно обозначил его географические границы в пределах европейского континента. В его время лев все еще водился в регионе, простиравшемся от Ахелооса до Нестоса; и когда мы посмотрим на явно тщательный характер самого упоминания, и когда мы поместим это упоминание на надлежащее место среди других упоминаний, у нас ни на мгновение не возникнет соблазна подумать, что львы Геродота были чем-то иным, чем настоящие львы. Некоторые действительно предположили, что Геродот был настолько плохим натуралистом, что принял рысей или диких кошек за львов. Вряд ли кто-то подумает так, когда он однажды расставит все свидетельства в правильном порядке. Точно так же, как мы можем верить в микенскую империю, не посвящая себя личному Агамемнону, так и мы можем верить в львов Пелопоннеса, не посвящая себя личному Эраклесу. Постоянные упоминания льва в гомеровских поэмах, должно быть, исходят из реальных знаний или из совсем недавней традиции. У зверя двоякое имя; он не только λέων, но и λῆς, и мы испытываем искушение, хотя это немного опасно, продолжить наши мысли немного дальше относительно его имени. Мы сами, кажется, никогда не называли его ничем, кроме имени, заимствованного из латыни; но не являются ли Löwe и λῆς строго родственными, признаками того времени, когда у царя зверей было имя, общее для всей арийской семьи? Во всяком случае, мы можем быть уверены, что первобытная легенда не четвертовала бы льва в Немее, что первобытное искусство не изваяло бы его в Микене, за исключением тех времен, когда его присутствие на Пелопоннесе если и было делом прошлого, то совсем недавнего прошлого.

Современная фауна Немей, какой она поражает прохожего, относится к более низкому и безобидному виду. Пастушки пасут своих коз среди руин, и глоток их молока в мае по-гречески - это освежающее средство, которым нельзя пренебрегать. И тому, кто использует свои глаза, проходя мимо, может повезти так же, как младенцу Гермесу, когда он встретил на своем пути черепаху. Черепаха, участвовавшая в этом приключении, добровольно пожертвовала собой на благо человечества, чтобы бог-младенец мог сделать из ее панциря лиру. Черепаха сохранила свое место в греческой детской речичеловека, и мы все еще можем задать вопрос греческим девочкам,

χελὶ χελώνη, τί ποιεῖς ἐν τῷ μέσῳ;

Есть соблазн увезти его с собой как живой памятник этого места, но путь из Немей в Британию долог.

Но мы не должны забывать о человеке и его делах, когда находимся в одном из главных мест эллинского богослужения. Вот храм немейского Зевса, одиноко стоящий на равнине, почти так же, как некоторые из наших цистерцианских аббатств стоят в своих долинах. История святого места характерна для греческой религии и греческой политики. Как Элида отвоевала Олимпию у Пизы, так и Аргос отвоевал Немею у Клеонаи. В каждом случае обладание храмом и всем, что к нему принадлежало, было источником достоинства и политической власти. Поэтому большой город жадно искал его и нескрупулезно захватывал за счет меньшего. Действительно, в случае с Олимпийцами одним из оснований для отказа от древних притязаний жителей Пизы было то, что у них вообще не было города, а они были простыми сельскими жителями, неспособными и недостойными руководить одним из величайших религиозных праздников греческой нации. С нашими северными представлениями мы склонны спросить, почему Олимпия и Немея сами по себе не превратились в города. Почему город не вырос вокруг святилища? Немало английских городов, некоторые из них значительных размеров, выросли вокруг какого-нибудь почитаемого монастыря или другой великой церкви. Несколько приверженцев святого, несколько иждивенцев его служителей положили начало поселению. Движение, убежище - все те мотивы, которые объединяют людей, увеличивали колонию. Со временем она либо отняла муниципальные права у своих духовных лордов, либо получила их в подарок. В любом случае был образован новый район, район, который не был создан, а разросся. Но в греческих представлениях город был чем-то, что не росло, а было создано. Оно могло расти бесконечно после того, как было однажды создано; но его первое создание не принимало форму выращивания. Новый город был основан особыми и торжественными актами, и ни в Олимпии Элида, ни в Немее ни Аргос, ни Клеонаи не потерпели бы такого основания. Там должно было быть какое-то жилье для служителей Бога и его почитателей, даже в обычное время. Во время больших фестивалей, как мы узнаем из рассказа о нападении на палатки посланцев Дионисия в Олимпии, собравшиеся толпы располагались лагерем на открытой равнине, как целая армия. Но такой лагерь, как и многие другие лагеря Рима, не превратился в постоянный город. Можно было бы вообразить, что целью общеэллинской политики могло бы стать выведение этих национальных святилищ из-под власти отдельных городов и передача их под некое управление, в котором могли бы быть представлены все, кто имел право участвовать в празднестве. Но такая идея была чужда греческому политическому сознанию. Президентство в храме и на играх было, по сути, привилегией того или иного города. Пиза или Клеонаи, Элида или Аргос были хозяевами, а остальная Греция - их гостями. Действительно, существовали Амфиктионии, когда храм принадлежал нескольким городам одновременно; но действия самых известных из них в греческих делах не произвели особого впечатления на умы греков в пользу такой системы управления. На протяжении всей греческой истории дельфийская амфиктиония либо ничего не делала, либо становилась орудием какого-нибудь могущественного государства или князя.

Но, помимо воспоминаний о Немее и мыслей, которые она наводит, есть и сам храм. Осталось достаточно места, чтобы проследить весь план местности, и три колонны парят над равниной, привлекая внимание как заметный объект при спуске. Мы говорим “парить”, потому что это,

пожалуй, единственные дорические колонны, которые действительно парят. Они выше и стройнее, чем любые другие, которые можно увидеть в Греции, и поэтому во многом утратили истинно дорический характер. В том, что они датируются гораздо более поздним временем, чем аттический парфенон, сомневаться не приходится. Греческие антиквары даже склонны относить их ко временам Македонии. Почти удивительно, что архитектор, который так далеко отошел от примитивной дорической идеи в пропорциях своих колонн, не рискнул перенять ни одну из более поздних форм капителей, одна из которых, по крайней мере, должна была войти в обиход до него. Мы видели ионическую капитель в афинском акрополе, и она, безусловно, больше подошла бы для отделки колонн Немеи, чем форма, которая кажется естественной в Посейдонии и даже в Афинах. Но все равно это величественные объекты. Ничто не может полностью отнять присущее дорической архитектуре величие, и рядом с ними находится реликвия, представляющая еще больший интерес, чем они сами. На территории монастыря, построенного из остатков языческого святилища, находятся руины небольшой церкви, явно древней, один из многих примеров, когда приверженцы новой веры использовали святыне места старой веры в своих собственных целях. Соседство двух храмов, ныне одинаково разрушенных, наводит на определенные размышления. Но в этом вопросе нам не мешало бы проверить себя; лучшую возможность для размышлений такого рода мы найдем на западной стороне Пелопоннеса.

Мы покидаем храм; проходим мимо развалин театра; поднимаемся к фонтану, где собравшиеся вокруг женщины могут позволить себе рассмотреть разнообразные украшения на своих платьях. Мы проходим дальше; мы снова спускаемся, отмечая несколько карьеров, которые поставляли камень для соседнего здания и которые выглядят почти так же, как сами здания. К нашему стыду, мы проходим мимо остатков Клеонаи, его акрополя, занимающего невысокий холм, не остановившись для более тщательного осмотра? Такие вопросы путешественник не всегда решает для себя сам; по большей части они решены за него. И тот, кто задержался в Микене утром и должен добраться до Коринфа вечером, может быть прощен, если он не воздаст Клеонаи должное. Привал и трапеза устраиваются в более удобном месте, в пределах видимости холма Клеонаи, где несколько деревьев дают тень и где несколько разрушенных и заброшенных домов остались как память о последнем землетрясении. Об этом землетрясении мы еще услышим и увидим в Коринфе. Мы направляемся к городу двух морей и горе, увенчанной его цитаделью. Прежде чем мы доберемся до них, мы сразу же узнаем, насколько Греция - страна гор и как близко одна часть Греции находится к другой. Здесь, на Пелопоннесе, мы видим за заливом горы Северной Греции. Седая голова Парнаса возвышается перед нами,

Не во взгляде мечтателя,

Не в сказочном пейзаже лэй,

Но парящий, покрытый снегом, в своем родном небе,

В дикой пышности горного величия.

Там, по правде говоря, она возвышается не как фигура речи, а как гора, охранявшая панэллинское святилище, более великое, чем Немейское. Вскоре мы достигаем извилистого спуска, и только плоский луг лежит между нами и Акрокоринфосом. Холмы Тиринфа, Микены и Клеонаи, сам афинский акрополь, ничто по сравнению с аргосской Лариссой; но сама

аргивская высота полностью уступает великому Коринфскому обрыву. Тем не менее, пока мы видим только заднюю сторону, сторону суши, горы; мы видим самую высокую точку крепости, которая ее венчает, но мы еще не видим, как Акрокоринф соотносится с Коринфом, Новым и Старым, и с морями по обе стороны от него. Нам еще предстоит изучить одно из мест Греции, которое представляет больший интерес для всеобщей истории, место, которое должно рассказать историю разорения, восстановления и возобновления разорения, отличного от любого другого, с которым мы до сих пор встречались.

Коринф.

До сих пор в нашем путешествии по Эллине мы могли сравнивать города, которые были навсегда стерты с лица земли в те времена, которые мы называем древними, с городами, которые сохранили непрерывное существование до наших дней. Город двух морей, город, охраняющий Перешеек, город, рядом с крепостями на холмах которого все соперничающие крепости на холмах кажутся кротовыми норами, имеет историю, которая не похожа ни на ту, ни на другую, историю, которая среди великих городов Греции является полностью ее собственной. И поскольку ни один из великих городов Греции не переживал таких взлетов и падений состояния, как Коринф, ни один из них не снискал себе более разнообразной славы. Нет ни одного греческого города, название которого вошло бы в более привычные поговорки; в наше время оно даже стало своего рода притчей во языцех. Никогда не занимавший первого, а всегда второстепенного места, как в греческих легендах, так и в самые блестящие периоды греческой истории, Коринф стал центром всей греческой истории в дни второго рождения греческой свободы; римская месть стерла его с лица земли, как ни один другой из великих греческих городов; он возник заново как римская колония, снова под влиянием неба и почвы превратившаяся в греческий город; он сохранил свой греческий характер на протяжении веков славянского нашествия, став одним из пунктов, подвергшихся наиболее ожесточенному нападению. боролся за то, чтобы в войне турок и венецианцев быть захваченным патриотами и угнетателями еще более поздней войны. И теперь, после столь долгой и напряженной жизни, после того, как человек вынес столько ударов, последний удар был нанесен рукой природы. Последнее из многих землетрясений предрешило судьбу Коринфа еще более эффективно, чем это было предreshено, когда Муммий пронесся по нему метлой разрушения. Муммий просто разрушил, а то, что Муммий разрушил, Цезарь мог восстановить. Но последнее падение Коринфа дало ему соседа и соперника. Старый Коринф покинут; на берегу вырос Новый Коринф. Новый Коринф вполне может вырасти, и его могут ждать века процветания. Но в то время как Новый Коринф растет и процветает на берегу, единственный шанс для Старого Коринфа у подножия горы - это то, что Новый Коринф может вырасти до такой степени, что когда-нибудь это почтенное место станет одним из его пригородов.

Те, кто верит в существование семитских или других иностранных поселений в Греции, склонны, хотя у них нет таких легенд, как о Пелопсе или Кекропсе, которые могли бы им помочь, основать финикийское поселение на Акрокоринфе. Пара имен - это все, что они могут показать, а холм под названием φοινίκαιον и an Ἀθήνη Φοινίκη мало что доказывают. Никакое место не может

быть более насквозь греческим; вершина холма, недалеко от моря, но не на нем, является идеальным местом для греческого прибрежного города древнейшего типа; а в Коринфе мы имеем самую мощную из вершин холмов, недалеко, но не на берегу, не одного моря, а двух. Это центральная точка Эллады, обращенная во все стороны, возвышающаяся над ее побережьями и горами со всех сторон. Его самое раннее название Эфир встречается во многих местах центральной и северной Греции, от Арголиды и Сикионии до Фессалии и Теспотии. Семитские элементы, возможно, смешались с местным культом Афродиты, не поддерживая никаких семитских занятий. Коринф торговал со всем миром, и, возможно, он многому научился у финикийских гостей, если бы финикийские поселенцы никогда не оккупировали его землю. Самый эллинский по своему положению из всех эллинских городов не может быть отдан варвару. Вместо финикийского происхождения приверженцам Востока приходится довольствоваться самыми поразительными финикийскими аналогиями. Если Коринф и Карфаген не были сестрами по происхождению, то, по крайней мере, они были сестрами по судьбе. Они погибли вместе и вместе восстали снова, если основание римской колонии можно назвать возрождением греческого или финикийского города.

Старые воспоминания о далекой-далекой Посейдонии снова всплывают в памяти — не случайно в месте, где Посейдона так высоко почитали, - когда мы смотрим на единственное уцелевшее здание нижнего города. Старый Коринф сейчас - просто деревня из нескольких домов. Там есть несколько памятников римских времен; но, как и в Посейдонии, их нужно искать. Единственное древнее здание, которое бросается в глаза и придает характер этому месту, - это разрушенный храм, где семь колонн все еще возвышаются во всем суровом величии самого раннего и строгого дорического стиля. Коринф дал свое имя новейшему, самому богатому и изящному образцу архитектуры Греции. Но ее единственная сохранившаяся реликвия - это из всех зданий на древней эллинской земле то, которое наиболее далеко отстоит от характера ее собственного ордена. Родина, как считали люди, живописи, одно из избранных мест скульптуры, город, переполненный великолепными храмами более позднего времени, теперь не имеет ничего, что можно было бы показать, кроме этих полуобвалившихся колонн, возвращающих нас к самым ранним дням исторического существования города. Какими бы молодыми они ни казались рядом с воротами и исчезнувшими колоннами Микене, Парфенон молод рядом с ними. Они переносят нас во времена Вакхиад и Кипселидов, в те дни, когда Коринф был владычицей западных морей и посылал своих колонистов и художников следовать на полуострове Коркира образцам, которые она вырастила у подножия своей собственной горы-хранительницы.

Колонны возвышаются над современной деревней, над местом, почти таким же пустынным, как то, над которым они, должно быть, стояли в течение ста лет между Муммием и Цезарем. Другие фрагменты, греческие и римские, почти не попадают на глаза. Но нижний город - это не настоящий Коринф. Это горная цитадель, вокруг которой собираются великие ассоциации города. Когда мы смотрим издали, взбираясь по его крутым склонам, мы думаем о двух великих моментах его освобождения, о дне

Когда брат Тимолеона впервые пролил кровь,

и та ночь, когда Аратос в свои более ранние и благородные дни взобрался по этой круче в зубах македонских стражников и лающих собак и снова сделал Коринф свободным эллинским городом. Мы представляем его следующим утром на *агоре*, усталым, опирающимся на свое

копье и рассказывающим горожанам, которых он доставил, историю о ночной работе, которая освободила их. И когда перед нами такая сцена, у нас нет соблазна заикливаться на том мрачном дне, когда избавитель разрушил свое собственное дело, когда вместо того, чтобы делить владения Пелопоннесом со спартанским соперником, он мог бы вернуть Коринфскую гору македонскому владыке. Действительно, гора возвышается над городом так же высоко, как Ларисса Аргосская возвышается над небольшим холмом Тиринфа. Суровый и голый, он возвышается над городом; суровый и голый, он возвышается над открытой местностью по обе стороны от него. Нотам, где гора более плавно опускается к меньшей высоте на своей сикионской стороне, мы можем подняться по извилистой тропинке; мы можем войти в ворота покинутой крепости; и здесь мы действительно находим историю Коринфа, историю Эллады, разборчиво написанную на камне. Крепость, за которую всего пятьдесят пять лет назад так ожесточенно спорили местные жители и их хозяева-варвары, теперь является крепостью только по названию. Страж охраняет ворота; но он охраняет их только как форму. Стены укрывают только руины. Но это руины, которые рассказывают свою историю, фрагменты, которые рассказывают, как

Многие исчезнувшие годы и эпохи,

И дыхание бури, и ярость битвы,

Они пронесли над Коринфом.

Каждая эпоха, от древнейшей до новейшей, оставляла свои живые и говорящие памятники на этом памятном холме, и ни один варвар классической эпохи еще не взялся за жестокую работу по уничтожению этой долгой и удивительной истории. Здесь, у самых ворот, находится первобытная стена, воздвигнутая, вполне возможно, еще до того, как Коринф был Дорийским, стена из камней, подобных тем, что сам Коринфский Сизиф, возможно, был установлен для того, чтобы катиться вверх по склону горы. Совсем рядом находится арка тринадцатого века нашей эры, арка не венецианской, а подлинно французской работы, работы тех дней, когда в Ахайе жили латинские князья, а в Новом Риме - латинские императоры. Мы проходим мимо укреплений, жилищ, храмов всех вероисповеданий и рас, которых Коринф видел как граждан или хозяев. Это произведение эллинских времен, тех дней, когда Коринф посылал свои колонии на одном море и встречал персов с оружием в руках на другом. Здесь сохранились следы храмов римской колонии, следы Коринфа, где преподавал Павел и куда Аларих вошел как первый вооруженный последователь учения Павла. Перед вами Византийская церковь, свидетельница долгих лет, когда Коринф был форпостом христианского мира, в одну эпоху противостоявшим рабам-язычникам, в другую - туркам-магометанам. Здесь находится турецкая мечеть, турецкое жилище, повествующее о долгой борьбе, когда турок отвоевал крепость у грека, когда венецианец отвоевал ее у турка, когда турок снова отвоевал ее у венецианца, до более счастливого дня, когда оковы Эллады, Пелопоннесский рог, снова перешли в руки ее сыновей. Все находится в руинах, все надлежащим образом находится в руинах, учитывая, что все являются памятниками ушедших сил. Но как руины пусть их охраняют и почитают, как руины, которые рассказывают свою историю, историю коринфской и эллинской истории. Слепая ярость разрушителя постановила, что история Афин больше не будет читаться на акрополе Афин. Пусть в Коринфе не будет таких врагов. Пусть не будет затронута стена, пусть не будет сметен камень, который все еще живет, чтобы рассказать, сколько раз и сколькими руками

Был ли Коринф проигран и выигран.

Подъем долгий; для любого, кроме молодого и активного или опытного альпиниста, он труден. Но тяжкий труд прерывается реликвиями, на которые мы останавливаемся поглядеть на нашем пути; он окупается величественными пейзажами, на которые мы взираем. Не будет преувеличением сказать, что мы смотрим на Элладу из ее центра. Небольшая разрушенная церковь на возвышенности ставит Акрокоринтос в один ряд со священными холмами христианского мира, холмами, где святилище на возвышенности смотрит вниз на город у своих подножий. Другая рука взяла Кашел за параллель с афинским акрополем; миниатюра, больше похожая на модель, найдена на нашем родном острове, где башня Гластонбери смотрит вниз на поля сражений Западной Англии. Однако ближе по размерам, в горной части ландшафта, находятся холмы-близнецы Ситтен. Но гигантские Альпы, огораживающие долину Роны, сами по себе заслоняют разнообразную панораму гор, равнин, моря и островов, которая открывается нам с холма Коринф. Более низкая английская возвышенность действительно приближается, как по сути, так и по историческому смыслу, к центральной цитадели Эллады. Если бы у Сахарной головы, как мы ее прозаично называем — Пен-и-вал своего народа, — которая так гордо охраняет вход в долину Уск, были замок и церковь Абергавенни на вершине, а не у подножия, у нас был бы более близкий подход, чем к Акрокоринтосу, хотя это был бы Акрокоринтос без его морей. Но без морей не было бы ни Коринфа, ни Эллады. Точка, где Восточное и Западное моря соприкасаются наиболее близко, на самом деле является центром, краеугольным камнем, как выразился поэт, всего полуострова к югу от Олимposa. Из цитадели Коринфа, если вся Эллада сама по себе не находится в пределах нашего поля зрения, все же вся Эллада находится в пределах видимости, так сказать, посредством представления. Пелопоннес и Аттика, земли к северу и югу от залива, берега двух великих конфедераций, горы Аркадии и Фокиды и снежная вершина Итолийского Коракса возвышаются там, как бы говоря о землях к северу и югу от них. И если западные острова, некогда особая сцена коринфской предприимчивости и коринфского владычества, находятся вне нашего поля зрения, мы можем мысленно отправиться к ним вдоль залива, по которому коринфские триеры отправились на веслах в свое первое морское сражение с восставшей Коркирой. Восточное море открывается справа, и изогнутый берег Саламина говорит о более благородной войне, когда Коринф объединился с Афинами и Эгиной, чтобы дать отпор вторгшемуся владыке Азии. В какой-нибудь благоприятный момент глаз может даже уловить увенчанный колоннами обрыв Афинского акрополя, тех самых Афин, которые Коринф когда-то надеялся увидеть превращенными в пастбища для овец, но чьей помощи он так скоро возжелал против той самой Спарты, которая сдержала ее разрушительную руку. С этой высоты Перешеек кажется всего лишь плоской равниной между двумя морями — Перешеек, так часто укрепляемый, так часто штурмуемый сменяющимися друг друга захватчиками. По этому узкому перешейку Агесилай и Антигон, Муммий и Аларих, Иаков Авеснский и Франческо Морозини, Амурат, Магомет и Али Кумурги - все они пробрались на полуостров. Но во всей этой долгой истории есть два дня, не сильно отличающиеся друг от друга в столь длинном рассказе, которые выделяются среди всех. Есть день римского освободителя и день римского разрушителя, день Фламинина и день Муммийа. Не то чтобы Фламинин провозгласил свободу Греции на *агоре* в Коринфе; такое провозглашение было бы оскорблением союзников Рима и всех тех греческих государств, которые, по крайней мере, номинально сохранили свою свободу тогда и веками позже. Но он провозгласил свободу Коринфа, свободу всех греческих земель, которые последний Филипп держал в рабстве. Пятьдесят лет спустя Коринф был стерт с лица земли, но пусть никто не думает, что уже тогда

Ахайя стала римской провинцией. Коринф пал, Коринф восстал снова, чтобы прожить более долгую и разнообразную жизнь как основание Цезаря, чем как основание Алетеса. И эти семь древних колонн стояли и смотрели на все эти перемены; они были свидетелями правления Периандра; они дожили до правления Георга Датского.

Акрокоринтос - гора, покрытая руинами; нижний город превратился в небольшую деревню. Несколько домов - это все, что осталось от этого оживленного места встречи двух миров; только разрушенный храм говорит о павших вероучениях; одна убогая церковь и еще одна маленькая часовня - это все, что может рассказать о церкви, основанной Апостолом. И все же единственный священник из Коринфа и его небольшая паства могут похвастаться тем, что у них есть два собственных послания Нового Завета, привилегия, которой эти немногие христианские семьи могут казаться более достойными, чем разношерстное множество современных фессалоникийцев. В Коринфе можно провести ночь, и при этом не пострадать от врагов, которых афинский комический поэт так гротескно наградил коринфским именем. Нет страха $\delta\eta\mu\alpha\rho\chi\omicron\varsigma\ \acute{\epsilon}\kappa\ \tau\acute{\omega}\nu\ \sigma\tau\omega\rho\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$ —нет опасений, что турист может плакать $\acute{\epsilon}\xi\epsilon\iota\rho\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\nu\ \omicron\iota\ \text{Κορίνθιοι}$. Но в Греции все животные, кажется, издают более громкие и четкие звуки, чем в других частях света; а в Коринфе, центре Греции, они кажутся, хотя это может быть просто фантазией, громче и визгливее, чем в остальной Греции. Поэт, более поздний, чем тот, которого мы так часто цитировали, воспел

Глубокое серое утро, когда пронзительно кричат болгарские петухи.

О вокальной силе болгарских петухов мы ничего не можем сказать; но сейчас должно быть много свидетелей, которые либо подтвердят, либо исправят описание поэта. Но в уединении современного Коринфа те немногие голоса, которые слышны, будь то человеческие, звериные или птичьи, кажутся определенно более громкими и пронзительными, чем даже в самих Афинах. У Афродиты был один из ее особых домов в Коринфе, хотя говорят, что семь массивных колонн принадлежат, как, несомненно, и должны принадлежать, ее старшей сестре Афине. Но птица, некогда сыгравшая с Афродитой столь жалкую шутку, и зверь, унесший Диониса и Зантиаса в их путешествие в нижний мир, призывают нас с силой голоса, которую, несомненно, не мог превзойти ни один болгарский петух, пробраться не в Кенхреай, а к его современному заменителю Каламаки — оттуда еще раз приблизиться к Афинам, на этот раз через берег Мегары и ее собственный Саламин.

Коринфский залив.

Мы уже говорили, что Коринф с его горной цитаделью является поистине центральной точкой Греции. Но мы не до конца осознаем, как Перешеек разделяет две разные сферы греческой жизни и истории, пока не окажемся на берегу залива, который получил свое название от города на Перешейке. Мы можем, если захотим, добраться до Афин прежде всего через Персидский залив; но мы, возможно, лучше поймем, какое место в истории Греции занимают берега залива, если посетим их на более позднем этапе нашего путешествия. Короче говоря, возможно, было бы неплохо покинуть Грецию через Коринфский залив и снова отправиться на западные

острова, откуда мы стартовали. Невозможно изучать Грецию в строгом хронологическом порядке, если только мы не могли бы каким-то образом спуститься с облаков на акрополь Микен. Но, взяв Коринфский залив и его берега в конце нашего курса, мы сможем закончить наше исследование теми частями Греции, которые, по крайней мере, в дни ее прежней независимости, были последними, кто вышел на передний план. И благодаря этому курсу мы, возможно, лучше поймем, почему эти части вышли на фронт позже других.

Греция, самый восточный из трех великих полуостровов Европы, начинает играть свою роль в мировой истории раньше, чем полуострова Италии и Испании; и аналогичным образом, именно восточная сторона Греции начинает играть свою роль в истории Греции раньше, чем западная сторона. Есть ли ответ на вопрос, что положение Афин, самой восточной части греческого континента, как ведущего государства Греции, появилось сравнительно недавно? Что касается владычества, то Микена, Аргос, Спарта - все вышли на первый план раньше нее. Но именно Афины в какую-то незаписанную эпоху сделали первый шаг вперед в греческой и европейской политической жизни благодаря тому союзу, который образовал единое содружество — мы могли бы сказать, один город — Афин и Элевсина, Маратона и Суниона. Это было поистине начало политической истории, основание государства таких счастливых размеров, что оно стало образцом городов-содружеств на все времена. А что касается городов, которые были во владении до Афин, то они тоже расположены, если и не так далеко на восток, как Афины, то все же на восточной стороне своего собственного полуострова. Все самое раннее величие, самая ранняя история Греции сосредоточена вокруг ее эгейского, а не западного побережья. Ее колонии простираются на восток и север, покрывая все восточное побережье эллинской окраиной, в то время как далекий-Ким был единственным форпостом на западе. По крайней мере, до македонских времен восточная часть Греции сохраняет свое преобладание; западная сторона важна главным образом как дорога к отдельному эллинскому миру в Италии и на Сицилии. Время от времени этот особый западный мир оказывает влияние на восточный эллинский мир, иногда, как во время великого афинского переворота под Сиракузами, с ужасающим эффектом. Но, в целом, западная часть Греции, сторона, где Коринф был больше, чем Спарта или Афины, оставалась второстепенной в греческих делах, в то время как греческий мир, расположенный еще дальше на запад, жил своей собственной жизнью, нарушаемой лишь случайными контактами с государствами древней эллинской земли. Политически древний греческий мир смотрит в основном на восток. Только великие религиозные центры нации так или иначе обращают свои взоры в сторону островов блаженных. Додоне находится на западе, в стране, эллинский характер которой был поставлен под сомнение. Как и Олимпия в пределах самого Пелопоннеса, в то время как Дельфы, хотя и не обращены абсолютно на запад, если их связь с Фермопилами каким-то образом привязывает их к восточной части Греции, все же выходят прямо на тот центральный залив, который образует великую магистраль, ведущую к западным берегам. В Коринфе действительно действует обратное правило; город двух морей и двух гаваней обращен гораздо больше к своему западному, чем к восточному выходу; но его великое истмийское святилище обращено к Сароническому, а не к Коринфскому заливу. Названия выбраны удачно. Западный залив был настоящим Коринфским заливом. Ни один другой город равного ранга не стоял на его берегу, в то время как его воды образовывали шоссе к островному и квази-островному владению Коринф на западных морях, к Лейке, Коркире и долгоживущему Эпидамносу, к Амбракии, которой суждено было стать столицей Пирра, к более могущественным и отдаленным Сиракузам, которым суждено было стать столицей целых династий тиранов и царей.

Тогда мы, наконец, прощаемся с Афинами и Аттикой; и, прощаясь с Афинами и Аттикой, мы прощаемся с чем-то большим. Мы переходим из одного эллинского мира в другой. Мы еще раз пересекаем устье Саронического залива до Каламаки; оттуда нас везут экипажи, может быть, в Новый Коринф, может быть, в Лутраки к северу от него, в соответствии с потребностями, в которых сухопутный житель плохо разбирается. В любом случае нас переносит гораздо более отчетливо из одного географического и исторического региона в другой, чем когда мы просто переходим с одного берега Саронического залива на другой. Когда нас переносит через холмы Истма, мы смотрим на Пелопоннес с одной стороны, на Северную Грецию - с другой; мы смотрим вперед, на Коринфский залив, и нас несет ко всему, что предлагает он на дальнем Западе. На Востоке мы повернулись спиной; и мы чувствуем, что сделали нечто большее, чем просто повернулись спиной, как того требуют физические потребности путешествия. Мы начинаем понимать, что северный, южный и западный взгляды на самом деле составляют систему, в которой земли и моря, которые мы оставляем позади себя, не имеют никакого отношения. И когда мы однажды оказываемся на водах Коринфского залива, мы начинаем ощущать себя в другом мире, отличном от мира восточной Эллады, мира Афин и Спарты. В обоих крупных частях внутреннего моря, внутри и за пределами проливов, в заливе Крисса и в заливе Патраи, мы чувствуем, что оставили Грецию Геродота, Фукидида и Ксенофона позади. Мы находимся в мире, которого их история касается лишь урывками; мы приплыли в Грецию Полибия. Мы проделали свой путь из мира городов-содружеств в мир федераций; по мере того, как мы продвигаемся вперед, земли двух великих Лиг лежат по обе стороны от нас. Почти на протяжении всего нашего путешествия мы огибаем ахейский берег на юге и то, что, по крайней мере в более поздние времена, стало Айтолийским берегом к северу от нас. Низшие лиги, Бойотия — ибо в те более поздние времена Бойотия должна была считаться низшей Лигой — Фокис и Локрис заполнили все пространство, которое Айтолия оставила незамеченным. И когда мы выйдем из залива и окажемся достаточно далеко в западном море, мы приблизимся к другой федеральной земле на берегах Аккарнании. Мы можем даже обратить если не наши взоры, то, по крайней мере, наши мысли к великому северному материку, который в те дни стал одновременно эллинским и федеральным как Конфедерация Эпейрос. Итак, перед нами мир, в котором мы проходим мимо многих мест, вызывающих как более ранние, так и более поздние ассоциации, но где главный интерес столь же отчетливо относится ко второму и третьему векам до нашей эры, как главный интерес к землям, омываемым Эгеями, относится к четвертому, пятому и шестому векам до нашей эры.

Мы должны быть последними, кто отсекает либо более ранние, либо более поздние ассоциации. Мы не забываем, что Айтолия, бедная ранней историей, богата еще более ранними легендами, или что она достигла пика своей легендарной славы, когда божественные эпейцы уступили место айтолийской колонии, которая должна была вырасти в элейских стражей Олимпии, особых слуг Зевса. Огибая внутренний залив Криссы, мы можем подумать обо всех священных войнах от Солона до Айшинеса. Наупактос занимает свое место как в легендах, так и в истории; в водах внешнего залива мы одинаково помним Формиона из Афин и дона Джона из Австрии. Проезжая мимо Патр, мы вспоминаем, как храбро святой Андрей сражался за свой город против рабов и сарацин. Когда мы смотрим на южный берег, мы вспоминаем, что когда-то в Ахайе были откровенные князья не менее, чем откровенные герцоги Афин. Когда мы смотрим на северный берег, мы вспоминаем, что было время, когда Сербская империя простиралась без перерыва от Дуная до Коринфского залива. И, помимо всего этого, огибая северный берег внешнего залива, мы проезжаем мимо места, слава которого в более поздние времена

затмевает все остальные ассоциации, от Мелеагроса до Дона Джона. Мы проезжаем мимо Месолонги, города двух бессмертных осад, долгой обороны, где фанариот Маврокордатос, единственный среди своего класса, поместил свое имя рядом с людьми Сули и людьми Гидры — в ночь великой вылазки, которая ставит имя Месолонги рядом с Итоме и Эйрой, Сагунтом, Нумантеей и Сарагосой. Все эти воспоминания составляют историю берегов, вдоль которых мы проходим; тем не менее, они лежат за пределами его главного и особого интереса. Они появляются либо до, либо после тех дней, когда два берега персидского залива образовали главный центр эллинской истории. Ахейские города тянутся вдоль берега, и, с нашим обычным протестом против тщетных попыток вернуть прошлое, которое ушло навсегда, мы ни на мгновение не сожалеем о том, что славянская Востица снова стала эллинской Территорией. Но прежде чем мы достигнем более древнего ахейского берега, мы проходим мимо территории города, без помощи которого эти ахейские города, чье место в более ранней истории столь невелико, никогда не смогли бы подняться и стать одной из двух ведущих держав Греции. Справа находится земля Сикион, город Аратос, освободитель и предатель Коринфа — человек, который научил города слева искусству Фемистокла, искусству, которое учит, как маленькое государство может стать великим. И мы ясно видим, что на обоих берегах написано, почему в войне тех времен Лига Севера обычно была агрессором, а Лига Юга — жертвой. За исключением некоторых более излюбленных мест, берег Айтолии кажется голым по сравнению с обычной голостью греческих холмов; берег Ахайи кажется богатым, подобного которому мы едва ли видели в какой-либо другой части греческого материка. Узкий пролив, пролив, которым Формион снискал свою славу, приводит в то близкое соседство, которое так характерно для греческой географии, — соседство, столь же близкое, как соседство Эвбеи с Бойотией в одном пункте и Северной Ахайи в другом, — две расы, настолько непохожие друг на друга, насколько это вообще возможно, которые поклонялись одним и тем же богам предков и говорили на диалектах одного и того же языка предков. Развитие и соперничество этих двух держав дают нам второй урок греческой истории, урок тех дней, когда, если число людей стало меньше, масштабы вещей стали больше, когда города превратились в федерации, когда диапазон греческой политики больше не ограничен греческими морями, но когда Македония и Пергам, Сирия и Египет, Карфаген и сам Рим начали появляться на сцене в качестве действующих лиц. Моря Восточной Греции принадлежат ко временам ее более блестящей, но и более ограниченной славы, когда Греция была ее собственным миром, когда учения ее истории были в основном учениями примера и аналогии. Моря Центральной и Западной Греции относятся к тем временам, когда Греция, какой бы менее свободной она ни была, менее блистательной, менее богатой великими деяниями и могущественными людьми, стала частью большего мира, и когда ее судьбы были связаны с судьбами более поздних дней прямой цепью причин и следствий. Историческое положение Коринфского залива таково, что это, прежде всего, воды Эллады, моря, омывающего берега Федеральных земель.

Когда мы выходим из залива у устья Ахелоса, Белой реки, получившей более позднее название, мы снова оказываемся среди Западных островов, хотя теперь мы видим их с совершенно других точек и в совершенно иных отношениях друг к другу, чем те, в которых мы видели их, когда впервые направлялись с Корфу вокруг Пелопоннеса. Наш курс несколько неустойчив, но это позволяет нам увидеть побережье, у которого свой характер и своя история. Мы огибаем берег Акарнании. Вот земля, которой нет места в Гомеровском каталоге, — следовательно, земля, которой нет места в Элладе тех дней, поскольку в наши дни мы вообще имеем какое-либо право использовать название Эллада. Тогда это был *Эпейрос*, безымянный материк, неэллинское

побережье, в отличие от эллинских островов, владений Мегеса и Одиссея. В федеративную эпоху мы видим это Федеративное содружество, слабое, если не считать его соседей-разбойников Айтолии, но занимающее первое место в Греции благодаря тому, что Ливий называет “fides insita genti”, людям, которые никогда не изменяли своей вере ни другу, ни врагу. И все же у них было достаточно житейской мудрости, чтобы считать свое отсутствие в Каталоге достоинством в глазах римлян. Италийцы, ахейцы и все остальные внесли свой вклад в свержение метрополии Рима; Акарнания была невиновна. Здесь особая история, и побережье имеет особый характер. Это, как и другие побережья Греции, побережье заливов, островов и полуостровов; но нигде больше мы не видели такого скопления маленьких островов, некоторые из которых просто скалистые островки, среди которых мы прокладываем наш путь, напоминающий нам меньше всего из того, что мы видели в Греции, чем северную и более пустынную часть Далматинского архипелага. Есть Эхинады, Оксеаи, острые острова, острова ежей более поздних времен; но могут ли эти точки быть Дулихионом и священным Эхинаи, островами, которые послали сорок кораблей на Илионскую войну? Мы проезжаем между ними, направляясь на север между Лейкасом и материком, вдалеке видны горы Эпейро; но сами мы даже не достигаем канала — после стольких изменений это уже канал, — который отделяет Лейкас или Санта-Мауру от материка. Мы поворачиваем; над меньшими островами возвышается Итаке; над Итаке возвышается Кефаления. Мы входим в гавань, как нам хотелось бы верить, царства Одиссея, но не без затруднения понимаем, как можно назвать остров, который явно лежит на северо-востоке, πρὸς Ζόφον. Мы входим и входим, едва ли мечтая заранее об изгибах глубокого залива, который так верно носит название Бати. Скептицизм на время исчезает, и мы не можем удержаться, чтобы не поприветствовать жителей Итаки как соотечественников старшего Одиссея.

Но есть еще одно место на материке, которое можно увидеть. Прежде чем мы покинем греческие острова, нам предстоит совершить еще одно, более кратковременное вторжение на материковую часть Пелопоннеса. Мы видели места проведения истмийских и Немейских игр; нам еще предстоит взглянуть на сцену великого праздника в честь самого Зевса. Мы проплыли мимо Айтолийского берега; мы должны посетить великую айтолийскую колонию. Наш последний отчет о греческих путешествиях, должно быть, черпал вдохновение из места, где ...

... κραιῖνων ἐφετμᾶς

Ἥρακλέος προτέρας,

ἀτρεκῆς Ἑλλανοδίκας γλεφάρων

Αἱ τωλὸς ἀνὴρ ὑψόθεν

ἀμφὶ κόμαισι βάλοι γλαυκόχροα

κόσμον ἐλαίᾱς.

Трудно представить себе грубого итальянца, выполняющего такую обязанность. Мы можем быть склонны вернуться к доктрине угнетенных национальностей и сказать:

ἦτοι Πῖσα μὲν Διός,

но отказывать во всем своим служителям чужеземцам с северного берега залива. Что, если мы отправимся в Олимпию, полагая, что Олимпиада 364 года до н.э., проведенная настоящими пизанцами под защитой аркадских копий, была единственным законным проведением фестиваля в исторические времена?

Из Коринфа в Элевсин.

Мы никогда не могли понять, почему лорд Пальмерстон назвал скачки в Эпсоме “нашими Истмийскими играми”, а не Олимпийскими, Пифийскими или немейскими. Но, поскольку это сказал лорд Пальмерстон, это высказывание было воспринято как имеющее какой-то особый смысл; поскольку, несомненно, многие люди полагались на тот же авторитет, что готическая архитектура была стилем, особенно подходящим для иезуитских колледжей. Единственная особая связь между Эпсомом и играми на Перешейке, по-видимому, заключается в том, что эти последние были посвящены Посейдону, Ποσειδῶν ἱππιος, и поэтому, возможно, могут показаться в некотором роде более “лошадиными”, чем другие. Так или иначе, связь с Посейдоном была связана с Тезеем и с Афинами, а Афины всегда претендовали на особое право на истмийский праздник, наряду с Коринфом, его законным президентом. Тогда было несколько странно, что в течение столетия, когда Коринфа еще не существовало, президентство на играх было возложено на Сикион, а не на Афины, желанного союзника Рима. Но в любом случае игры обеспечивают связующее звено между Коринфом и Афинами. Хорошо, что дорога — мы собирались сказать “между двумя городами”, но теперь мы должны скорее сказать “между деревней и столицей” — проходит рядом с местом проведения игр. Мы идем по тропинке через Перешеек, который с вершины горы кажется таким плоским, но теперь мы обнаруживаем, что в нем есть свои подъемы и спуски. Мы проходим мимо следов *стадиона*; мы проходим мимо фундамента великого храма Посейдона; мы видим следы стены, которая за столько веков оказалась таким тщетным барьером; мы видим следы канала, который так часто не менее тщетно пытались использовать как средство превратить остров Пелопс в настоящий остров. Теперь, когда Афины и Коринф больше не являются врагами, эта работа необходима как никогда. Немалый объем торговли, который сейчас идет в другие места, как нам сказали, сразу же прошел бы через Перешейный канал в гавань Пейреус. Мы покидаем Кенхрею справа и снова садимся на корабль у современного Каламаки; таким образом, мы лучше видим ту северную часть Саронического залива, которую видели только издали, когда плыли из Пейрея в Науплию. Мы огибаем берег Мегариды; нам лучше рассмотреть очертания Саламина и его спутника Пситталии, места кровавого подвига Аристидида. Мы снова приземляемся; мы проезжаем по ставшей уже знакомой дороге, на этот раз, возможно, не так стремясь, как раньше, увидеть первый проблеск священной скалы Атене. Возможно, нам скорее покажется, что, приближаясь к оливковым рощам Колоноса, мы все еще находимся во владениях Посейдона. Возможно, мы скорее остановим свой взор на более низком и совершенном Тезейоне, чем на более могущественном и разрушенном Парфеноне. Только что побывав на месте Истмии, мы склонны остановиться на легенде, которая рассказывает нам, как близко Афины когда-то были к Посейдонии. Таким образом, морской бог следует за нами на обратном пути из Коринфа в Афины. Он будет сопровождать нас в некоторых путешествиях, которые нам

предстоит совершить в самой Аттике, прежде чем мы снова направим наш курс обратно к западным берегам Пелопоннеса и к островам, расположенным еще западнее. Тот, кто не может увидеть всю аттическую страну, тот, кто должен довольствоваться представлением себе с афинского акрополя, как Агис послал свои грабительские отряды из Декелеи и как дух свободы поселился вместе с Фрасибулом на челе Филы, должен, по крайней мере, пройти Священным Путем к святому месту христианского мира в Дафне и к святому месту языческого мира в Элевсине. Он должен размышлять на холме Маратон, не мечтать о том, что Греция все еще может быть свободной, но задаваться вопросом и надеяться, как скоро свобода, которая заканчивается в Офрисе, достигнет, по крайней мере, Олимпоса. Он тоже должен стоять на мраморном обрыве Суниона, больше не уклоняться от земли, на которой он стоит, как от земли рабов. И по крайней мере в двух из этих трех путешествий он все равно окажется в обществе того же божества, которое царило на Перешейке и на Колоносе. Если Деметра и ее дитя занимали первое место в Элевсине, то у залива, который охраняет Саламин, морской бог не был забыт, и на вершине Суниона две державы, которые боролись за господство Афин, разделили между собой священное место. Перешеек с его играми, Элевсин в его заливе, Сунион на его возвышенности - все это, насколько это возможно с первого взгляда, вполне уместно рассматривать как места, где морскому богу поклонялись, по крайней мере частично, на местном уровне.

Путешественник, который отправляется из Коринфа в Афины по суше, по пути заедет в Элевсин; и те, кто, подобно Десяти тысячам измученных в Керасосе, сыты по горло своим сухопутным путешествием и кто предпочитает плыть без усилий — возможно, спя, как Одиссей, — над волнами, вполне могут сделать Элевсин целью своего первого путешествия после того, как они снова окажутся в Афинах. Мы вернулись к цивилизованной жизни. Путешествие из Афин в Элевсин может быть совершено по Священному Пути тем же способом, с помощью которого все еще сохранившиеся следы колес говорят нам о том, что он был проложен в древности. Это путешествие представляет большой интерес; это путешествие вдвойне интересно, по крайней мере, для тех, кто считает Дафну и ее сохранившуюся церковь не менее достойными интереса, чем Элевсин и его разрушенный храм. Священный Путь Афин имеет свою римскую параллель; но его можно найти не на Священном Пути Рима, а на дороге, носящей имя великого Цензора. Священный Путь, как и Аппиева дорога, как и все пути в большей или меньшей степени, хотя эти два, по-видимому, выделялись среди других, был улицей памятников, некоторые из которых все еще можно проследить. Отделяясь от монументального квартала Афин, от гробниц, недавно обнаруженных на Керамейкосе, Священный Путь начинался от Дипилона, который сам был обнаружен вместе с гробницами, и проходил через оливковые рощи, оставляя справа холм Посейдона Колонос. Отправная точка современной дороги не совсем совпадает, но они соединяются на небольшом расстоянии от древних стен. Гробницы, которых там больше нет, могут быть изучены во время маршрута Павсания. Но одна из них связана с памятником, некоторые следы которого можно найти дальше. Самый великолепный из всех памятников Священного Пути - это тот, который увековечил самый никчемный прах на всем его протяжении. Мы чувствуем, что Афины действительно пали, когда зять Фокиона, по просьбе и за счет Гарпалоса, воздвиг самую великолепную из всех гробниц в память о Пифионике. Далее в нашем путешествии мы подходим к месту, где древний храм Афродиты был обращен для поклонения Филе, Филе-Афродите, жене Деметриоса Осаждающего. Фила действительно была одной из благороднейших женщин, в то время как Пифионика была одной из самых порочных; но гробница и храм в равной степени отражают дух того времени, когда чужеземцы изгоняли

мужчин, и даже богов Эллады из их родных домов и алтарей. Но прежде чем мы доберемся до храма Филе, мы достигнем одного из тех мест, где долгие века греческой истории собраны вместе в одном месте. Там, на перевале, находился храм Аполлона; там, опоясанная его *периболос*, стоящая на своем месте с фундаментом, построенным из его камней, находится монастырская церковь Дафны. Полезно смотреть и изучать, пока есть возможность. Дафну однажды уже уволили; здесь, как и в Афинах,

Quod non fecerunt Gothi fecerunt Scoti;

здесь, как и на афинском акрополе, мы можем проклинать имя Элджина и оплакивать колонны, унесенные с их собственного места, чтобы утратить красоту, ценность и интерес к английскому музею. И вот в наше время современные разрушители Афин, в своем рвении стереть с лица земли историю страны, могут однажды обречь на снос апсиды, купол, кампунила, Дафну в надежде найти надписи среди их руин. На фундаменте из храмовых камней возвышается церковь с ее смешанной каменной и кирпичной кладкой, замысловатыми окнами, раскидистым куполом гораздо большего масштаба, чем на Корфу или в Афинах. И, возможно, более интересным, чем все остальное, является франкская работа в вест-энде, защита укрепленной церкви, возведенной латинскими князьями, с современным монастырем, все это похоже на работу западных архитекторов на восточной земле. Варвары, укравшие колонны, похоже, оставили после себя что-то помимо простых фрагментов. Ионическая колонна, вделанная в стену, помогает поддерживать арку, которая, очевидно, когда-то была частью большего числа, и которая переносит наши мысли к базиликам, но не Равенны, а Рима.

Немного дальше мы можем отметить следы колес на скале и увидеть грубый фундамент - ἄρϋοι λίθοι Павсания — *периболоса* храма двоякой Афродиты. Мы приближаемся к временам язычества, язычества в такой странной форме, когда мы видим ниши, высеченные в скале для приношений по обету — точно такая же мода сохранилась и в наши дни во многих церквях Южных земель — и когда мы видим из надписи φίλη Ἀφροδίτη, что у македонской царицы действительно были поклонники на Чердаке. К этому времени мы начинаем лучше понимать географию страны и видеть то, чему не научил бы нас ни один вид из самих Афин, насколько прочным был географический барьер между Афинами и Элевсисом. На это хорошо указал мистер Махаффи; это как раз то, что мистер Махаффи, которому так не везет в некоторых вопросах, способен воспринять так же хорошо, как и любой другой человек. При взгляде с афинского акрополя взгляд останавливается на горах, которые отделяют аттическую землю от Беотийской; он проходит над более низким хребтом, который отделяет более специфичную афинскую землю от Элевсинской. С самого этого хребта, даже с перевала, который пересекает его, мы видим, насколько полностью эти два округа были изолированы друг от друга, как — немаловажный момент в политической географии Греции — они лежат вне поля зрения друг друга. Теперь мы лучше понимаем рассказы в "Гимне Деметру" и в "Истории Теллоса" Солона, которые представляют перед нами Элевсин как государство, отличное от Афин, и ведущее свои войны с Афинами. Мы понимаем, почему он единственный среди аттических δῆμοι сохранил, несомненно, в честь своего священного характера, название πόλις, и как однажды в более поздние времена, после того как Афины были очищены от Тридцати, он на мгновение снова стал отдельным государством. Мы проходим вдоль берега залива, мимо Реитои, водохранилища, которое когда-то почиталось элевсинскими богинями, в водах которого могли ловить рыбу только их жрецы. Затем следует гробница Стратона, где мы встречаем первый признак того, что Элевсин был великим и процветающим городом даже в поздние римские времена. У Стратона

были жены с римскими именами; и в названии места ее рождения мы получаем одну из тех счастливых орфографических ошибок, которые помогают нам проследить историю греческого произношения. Ее описание, Πύλλα Μουνατίᾱ Ἡράκλῃα, учит нас, что, когда памятник был установлен, через некоторое время после Павсания, η и ει уже имели одинаковое звучание, но греческий αι больше не представлял латинский ai.

Мы прибыли в Элевсин под видом приверженцев Посейдона; но следует признать, что, когда мы достигнем священного города, нам придется поверить Павсанию, что морскому богу там когда-либо поклонялись. Он говорит нам, что в Элевсине был храм Посейдона-Отца; но руины, которые мы должны изучить, - это руины храма сил, которые, несомненно, были Матерью и Дочерью. Элевсин, как и другие города, начинался как городище; в нем до сих пор сохранился свой акрополь, часть контура стены которого можно проследить. Его венчают церковь и колокольня, конечно, не отличающиеся удивительной архитектурой, но которым, мы надеемся, будет позволено сохраниться, даже если существует десятилетняя доля вероятности, что в их фундаменте может быть найден камень с двумя или тремя выбитыми на нем буквами. Холм Элевсинского акрополя образует длинный неправильной формы гребень, возвышающийся на большей части своего русла близко над заливом, но немного уходящий вглубь страны в том месте, где он становится акрополем. Таким образом, между холмом и гаванью остается значительное пространство для нижнего города. Во время прогулки по холму бросается в глаза разрушенная башня франкских времен, стоящая на почти отдельно стоящем возвышении. Когда до нее добираться, она не представляет деталей для изучения. Но по пути туда мы смотрим на Саламин и залив, который он охраняет — озеро, как может показаться, между материком и изогнутым островом, — в то время как с другой стороны мы смотрим вниз на Фризскую равнину, равнину, которую так часто разоряли пелопоннесские захватчики, прежде чем они пересекли хребет Айгалеос и нанесли ущерб окрестностям самих Афин. А на гребне холма, перед тем как мы доберемся до тауэра, находится одна из самых маленьких и скромных церквей, которая не вызовет презрения у тех, кто считает, что ни один аспект истории страны не стоит их внимания. У подножия холма, на противоположном конце от башни, лежал, как могли бы лежать Афины, будь их гавань совсем рядом, священный город Великих Богинь. На самом конце хребта, вдаль, как могло бы показаться, от моря, находятся руины храма, который когда-то был самым большим по размерам среди святых мест Эллады. Сейчас мало что можно разобрать по его обширному контуру. Беспорядочные и разрушенные руины, которые остались, - это руины храма Афины Пропилаи. Его план может быть составлен без труда; результаты можно увидеть не в одной книге, начиная с полковника Лика. Но одна особенность, которая не является наименее поучительной из всех, по-видимому, едва ли привлекла к себе чье-либо внимание. Среди его руин находятся капители того же класса, что и в термах Антонина, капители, в которых отброшены традиционные рамки и в которых дан более широкий простор для изображения форм божества, человека или животного. Это памятники того, что на самом деле было одним из самых процветающих периодов в истории Элевсины; когда при Римском мирени один Теллос не мог сражаться в войне между Афинами и Элевсисом, ни один изгнанный из Афин предатель не мог найти убежища в Элевсине, но когда Афины и Элевсин процветали бок о бок, один как университет мира, другой как одно из главных мест паломничества. Являются ли эти остатки храмом, перестроенным философом Марком? В любом случае, они являются звеньями в той длинной цепи истории искусства, которая здесь, в Элевсине, уносит наши мысли к Лукке и Вецлару. Таким образом, последняя эпоха славы Элевсина начинается со святого язычества, князя, во времена которого лионские мученики несли свои муки, а Поликарп

играл человека на костре. Они были отомщены, когда Элевсин пал от нападения христиан и тевтонских захватчиков. Запустение, которое мы видим вокруг себя, восходит к тому вторжению Алариха, которое ознаменовало столь великую эпоху в истории Греции, великий поворотный пункт, когда языческая Эллада превратилась в христианскую землю, презиравшую эллинское название. С того дня Элевсин больше никогда не поднимал головы. Пришло время, когда она исчезла так же бесследно, как Тиринф или Микене. Когда Спон и Уилер ехали в Элевсин, там не было ни одного жилого дома. Маленький городок, возникший во времена Лика, стал еще меньше во время войны за независимость. И теперь Элевсин, кажется, снова начинает возникать в точке своего кругооборота, которая находится дальше всего от своего древнего святилища. Суда стоят в бухте; современная фабрика — мы забываем о ее точном назначении — занимает большое пространство между холмом и морем. Признаки жизни следует приветствовать повсюду; особенно их следует приветствовать, когда они показывают, что в Греции есть жизнь и в других местах, кроме ее вторгающейся столицы. Пусть фабрика растет и процветает; пусть сосудов прибывает больше, они не причинят вреда тому, что осталось от храма Деметра и Афины; только мы были бы рады быть в равной степени уверенными, что какой-нибудь врач-эстетик, грек или немец, не задумается однажды совершить набег на церкви, колокольню и разрушенную башню.

Сунион.

К элевсинскому и маратонийскому паломничеству следует добавить еще одну экскурсию, на этот раз не по земле Аттики, а по Аттическому морю, даже для тех, кто не может взять на себя смелость последовать чуткому руководству полковника Лика и осмотреть каждый уголок Аттики δῆμοι. Исследование аттической земли вполне может быть закончено в том месте, где, с точки зрения географической точности, оно должно было начаться, по крайней мере, для тех, кто приближается через Сиру. Но для того, кто приближается таким образом впервые, Сунион — самое большое маяк, указывающий на Афины; может даже случиться так, что, если ему удастся приблизиться тусклым и облачным утром, он может не различить мраморную кручу Суниона среди других возвышенностей, по которым блуждает его взгляд. Вполне возможно, он ожидает, что высота и храм будут смело бросаться в глаза как первая точка аттической земли, привлекающая его внимание. Он может не до конца осознать тот факт, что мыс находится в некотором роде за углом. Если он не изучал свою карту очень внимательно, он может прийти к выводу, что Аттический полуостров заканчивается точкой, точно так же, как и три южных полуострова Пелопоннес, прежде всего Таинарос. Павсаний действительно начинает свою картину не только Аттики, но и всей Греции с “высоты Сунион, простирающейся от Аттической земли и материковой части Эллады к Кикладам и Эгейскому морю”. Тем не менее, несомненно, что тем, кто приближался к материковой части Эллады с Киклад, не посчастливилось увидеть Афины на мысе как предвестницу Афины на внутренней скале. Даже тот, кто пользуется большей благосклонностью, не может в этот момент остановиться, чтобы изучить расположение колонн, которые все еще сохраняют свою древнюю белизну. Проплывая мимо, он также не обнаружит, что и там соперница Афины не была полностью вытеснена, что морской бог сохранил в Сунионе

второстепенное место, по крайней мере, такое же важное, как то, которое он сохранил в Элевсине рядом с Деметрой и ее Ребенком.

Таким образом, путешествие в Сунион является необходимой частью даже короткого пребывания в Афинах и Аттике. Тот, кто бережно относится к рудникам, старым или новым, может предпочесть путешествие по суше, которое должно сочетать Сунион с Лауреоном. В противном случае, возможно, было бы лучше отдать себя под опеку повелителя дельфинов, которому люди молились на Сунионе (Ἱερωσύνην τῶν ὤδε λφίνων μεδέων Σουνιάρατε), и довериться его золотому трезубцу, чтобы расчистить путь. Этот путь ведет через несколько выступающих береговых точек, причем перед каждым мысом, как правило, находится остров, служащий своего рода форпостом. Таков, прежде всего, Зостер, где узкий перешеек, как намекает дин Блейкли, соединял мыс с берегом, но где благочестивые этимологи более позднего времени увидели место, где Лета ослабила свой пояс. Такая этимология во многом перекликается со многими популярными этимологиями в нашей стране. С холма Битвы мы смотрим на Телхэм, названный так, согласно местной легенде, потому, что наступающий там норманн *рассказал* своей армии. Неподалеку протекает один из "холодных ручьев", которые дали свои названия столь многим местам от Нормандии до Шотландии. Говорят, что здесь это место, откуда герцог *отозвал* своих летунов. Происхождение слова "Зостер" от слова "зона" Лето является предположением, по существу, того же рода, что и эти; однако между ними есть разница, которая не лишена смысла при сравнении истории греческого и английского языков. В английских производных подлинное значение абсолютно забыто; на службу берутся совершенно неправильные слова, имеющие лишь случайное сходство в звучании. В одном из двух случаев слово, употребленное таким образом не по назначению, само по себе в этом значении устарело. Не исключено, что может возникнуть новая легенда, и что Телхэм, вместо того места, где Уильям *приказал* — то есть пронумеровал — свою армию, может стать местом, где он *приказал* им сделать то или иное. Но греческий не был, по крайней мере в те дни, когда была придумана легенда о Зостере, настолько разрушен, чтобы люди, скорее всего, уходили к совершенно неправильному корню. История укладывалась в предписанные рамки завязывания или развязывания того или иного; и Лето, Артемида и Аполлон обрели новое место поклонения благодаря этимологической догадке. Но Зостер имеет свое место как в истории, так и в легендах. Персы после Саламина захватили, как говорит Геродот, три небольших пика, образующих полуостров для афинских кораблей, и бежали все дальше, пока не обнаружили свою ошибку. Один историк-скептик предполагает, что это, должно быть, была лунная ночь. Но, в конце концов, не может ли эта история быть менее легендарной, чем история Лето, только в той мере, в какой в ней задействованы настоящие действующие лица? То, что персы приняли скалы Зостера за корабли и тем более бежали, - это своего рода насмешливое высказывание, которое, вероятно, произносили в то время, независимо от того, правда оно или ложь. И даже если это было просто насмешливое высказывание, оно вполне могло перерасти в серьезную веру еще до того, как Геродот, четырехлетнему ребенку в то время, превратился в пытливого историка. В конце концов, история относится к классу а. Есть чертополох, который армии использовали вместо копий после битвы при Монлери. Вот валлийки в красных плащах, которых французы из Фишгарда приняли за солдат регулярной армии, пришедших на помощь доблестному ополчению Пембрукшира. Происходило ли все это на самом деле, или это всего лишь высказывания, вошедшие в историю? Пусть специалисты по сравнительной мифологии спорят по этому поводу.

Но за нами следуют этимологии по всему побережью. Каждый, кто когда-либо смотрел на карту, знает Лонг-айленд, расположенный непосредственно к востоку от южной точки Аттики, название которого варьируется между простым описанием Макрис и более привлекательным названием Хелене. Как сюда попала Хелен? При всем уважении к Страбону мы можем быть уверены, что это не Кранаэ из третьей книги "Илиады"; это было далеко отсюда, на Лаконском берегу, и гомеровская ссылка была увековечена храмом Афродиты с неприличным названием. Так рассказывает нам Павсаний, хотя и не объясняет, что привело Елену на Лонг-айленд близ Суниона. Мы не будем намекать на то, что, согласно одной гомеровской истории (см. "Одиссею" iii. 278), она должна была быть если не на острове, то, по крайней мере, рядом с ним, в лучшей компании и в более поздней и лучшей части своей истории, чем та, в которой Страбон привел ее в эти края. Но на чердачной почве или на чердачных водах мы должны научиться чувствовать чердачный патриотизм, и, настроенные таким образом, мы можем дать ей шанс с другой стороны. Мы не должны забывать, что Елена занимает свое независимое место в Аттике, а также в пелопоннесской легенде. Ее похитили Тезей, а также Парис. Ее знали в Афидне, Декелее и Рамноусе; и было бы лишь изрядной причудой этимологической выдумки приписывать ей остров недалеко от Аттики, а также от побережья Лаконии.

Но поскольку Елена таким образом охраняет восточную сторону южной оконечности Аттической земли, нас немного разочаровывает, когда мы узнаем истинное происхождение названия гораздо меньшего острова, который охраняет ее западную сторону. Там находится остров Патрокл. Елена и Патрокл кажутся вполне подходящей парой; и очарование, кажется, рассеивается, когда мы обнаруживаем, что остров получил свое название не от гомеровского прообраза Ионафана, а от адмирала Птолемея Филадельфа, который вырыл там ров и возвел стену, когда пришел на помощь Афинам против Антигона Гоната. Такое падение от поэзии к прозе, от легенды к истории действительно печально. И все же мы можем извлечь некоторое утешение. Все является достижением, которое напоминает нам о том, что история Афин закончилась не войной при Чайронее или Ламией, но что Птолемей и Антигон, а также люди, жившие на века позже Птолемея и Антигона, имели какое-то отношение к решению ее судеб.

Остров Патрокл - последний из серии мысов и островов между Пейреем и Сунионом. Все они потеряли свои имена, если только кто-нибудь не считает, что *Фаура* и *Флеуа* являются формами одного и того же имени. Все остальные имеют описательные названия, оканчивающиеся на νησί — уменьшительную форму, которая, согласно правилам новогреческого языка, вытеснила более древнее νήσος — точно так же, как у наших берегов они могли заканчиваться на *холм* или *эй*. Мы обходим последний пункт, а теперь...

Σούνιον ἢ πὸν ἀφικόμεθ', ἄκρον Ἀθηνῶν.

В голове промелькнет скептическая мысль. Не следует ли нам читать ννῆς вместо Ἀθηνῶν? Но если мы отбросим эту мысль, то снова получим другое свидетельство того, каким образом вся Аттика еще во времена Гомера превратилась в Афины. Здесь есть небольшая бухта, огороженная возвышенностью, увенчанная белыми колоннами, которая и дала мысу его современное, итальянское название. Название вполне уместно; Сунион - это прежде всего Мыс Колонн. Чистая белизна, которую до сих пор сохраняет их мрамор, поражает глаз, который уже некоторое время привык к желтовато-коричневатому оттенку стоящих колонн Афин. Мы говорим "стоячие колонны", потому что те колонны Парфенона, которые были разрушены, такие же белые, как и в Сунионе. Если бы не этот последний факт, было бы легко объяснить разницу в

оттенке колонн разницей между чистым морским воздухом Суниона и воздухом акрополя, возвышающегося над большим городом. Только здесь возникает трудность, о которой свидетельствует белизна упавших колонн в Афинах. Либо обесцвечивание колонн, которые все еще стоят, произошло после осады Морозини, либо разрушенные колонны вновь обрели свою белизну после падения. Мы не претендуем на то, чтобы объяснить эту трудность; мы только констатируем ее. Все, что нас интересует, - это поразительный эффект белого мрамора колонн в Сунионе, контрастирующий либо с обесцвеченными колоннами Парфенона, либо с примитивными колоннами из более грубого камня, которые с самого начала были покрыты чем-то вроде штукатурки. Фактический материал колонн Суниона является чем-то средним между ними. Это мрамор, но мрамор с соседних холмов, гораздо менее изысканный, чем пентелический мрамор Парфенона. Сразу бросается в глаза еще один момент. Стоят тринадцать архитектурных объектов, но вскоре становится видно, что только двенадцать имеют обычную форму колонн. Какая тринадцатая? Он выглядит как квадратный пирс, подобный тому, который мы должны были бы ожидать найти внутри базилики в Лукке, но не снаружи храма в Сунионе. Внешний вид вызывает недоумение, пока мы не доберемся до места строительства храма и там тщательно не изложим план местности. Но прежде чем мы сделаем это, необходимо изучить два других памятника. Сунион, помимо того, что был святым местом, был еще и крепостью. Когда весть о поражении в Сиракузах дошла до Афин, когда были использованы все средства, чтобы поддержать пошатнувшееся государство, одним из средств защиты, которое было предпринято, было укрепление Суниона. Это было сделано с особой целью обеспечить защиту судов с зерном, которые доставляли заморские продукты питания, в которых Афины нуждались больше, чем когда-либо, когда пелопоннесцы находились в Декелее. До сих пор сохранилась большая часть стены, отделяющей мыс, стены лучшей эллинской каменной кладки, укрепленной квадратными башнями через равные промежутки времени. В пределах этого военного кольца мы снова подходим к остаткам Пропилей, входу, как в Элевсине, так и в самих Афинах, в непосредственную священную территорию. Но самой вершиной, венчающей мыс и сразу выходящей на море, является сам храм. И когда мы внимательно изучаем его план, мы видим значение аномального квадратного объекта, который снизу казался таким загадочным. Храм был единственным в *антисе*, и квадратный объект является концом одной из стен *целлы*. Сходство с ним можно проследить, хотя оно и не поднимается достаточно высоко, чтобы выделяться на общем фоне. Одна из колонн, начинающихся с *антея*, две на северной стороне, обращенной к суше, и девять на южной, или к морю, все еще стоят со своими архитравами; но восточный и западный фасады с их колоннами и фронтонами погибли.

Это действительно место, где можно постоять и полюбоваться, хотя теперь с совершенно иными и более счастливыми чувствами, чем те, которые Байрон вложил в уста своего воображаемого греческого поэта. Побуждение состоит в том, чтобы взглянуть на море и острова, на царство Афин, на царство, которое должна была охранять ее крепость на Сунионе. Но также полезно смотреть в сторону суши, и короткая прогулка от храма покажет, что Атене была не единственной силой, которой поклонялись на Сунионе. То, что там поклонялись морскому богу, повелителю сунионских дельфинов, ясно из Аристофана. Шутки в "Птицах", где к богу обращаются,

Ἦσουνιέρακε χαῖ ρ' ἄναξ Πελαργικέ,

дайте нам другой титул морского бога. Посейдону в Сунионе, как и Зевсу в Додоне, молились как пеласгам. Поэт-комик, однажды попав в Нефелококкигию, без колебаний меняет эпитеты божества на “ястребиный” и “аистовый”. Исходя из этого, мы можем быть уверены, что полковник Лик был введен в заблуждение, полагая, что у Посейдона на Сунионе нет ничего, кроме простого алтаря. Мы спускаемся от храма Афины, проходим Пропилеи; проходим мимо руин стены; достигаем небольшого перешейка — поскольку храм расположен на полуострове - и на более низкой высоте находим остатки, недостаточные для того, чтобы мы могли разглядеть план какого-либо здания, но достаточные, чтобы показать, что здесь должно было стоять здание какой-то важности. Несомненно, здесь находится храм бога, которому молились на Сунионе. Посейдон здесь, как и в Коринфе, чувствует себя как дома на своем перешейке.

Люди Суниона являются предметом намека поэта Анаксандрида, цитируемого Атенеем, который на первый взгляд не очень понятен:—

πολλοὶ δὲ νῦν μὲν εἰ σὶν οὐκ ἐλεῦθεροι, εἰς αὔριον δὲ Σουνιεῖς, εἴ τ' εἰς τρίτην ἀγορᾶ κέκρηνται.

Некоторые говорят, что это относится к их процветанию, поскольку они живут рядом с рудниками Лауреона. Сами по себе эти слова, по-видимому, скорее указывают на класс, промежуточный между рабом и полноправным гражданином. Но как могло такое возникнуть в какой-либо части Аттики после объединения аттических городов? Некоторых из их современных преемников можно было увидеть у входа в пещеру на берегу моря, одни созерцали чужаков, другие следили за полезным занятием Наусикаа. Вся сцена — маленькая бухта с пляжем у голубых вод; холмы позади, с их белыми колоннами на фоне неба; пещера, наводящая на мысль о бесконечных гомеровских воспоминаниях о нимфах и морских богах - даже домашняя работа, ведущаяся на берегу, — все кажется гармоничным; все, кажется, переносит нас в те дни, когда силы, боровшиеся за Афины, похоже, согласились сохранить Сунион в качестве совместного владения.

Олимпия и ее церковь.

Олимпия, когда немецкие копатели разбежались из-за жары греческого лета, когда они оставили все статуи и другие прекрасные вещи, которые они нашли, замурованными от всех людей, греков и варваров, может показаться, даже в буквальном смысле, Олимпией, у которой весна вырвана из года. Но Олимпия для всех общих исторических целей может быть Олимпией и без них; некоторые умы, возможно, не очень сожалеют об их отсутствии. Для некоторых умов галереи, музеи, коллекции всех видов просто утомительны. Усталость - это то, что вполне можно перенести ради знаний, которые можно получить с ее помощью; и все же созерцание предметов рядами и витринами, занесенных в каталог и пронумерованных, - это усталость по сравнению с чистым удовольствием от созерцания одних и тех же предметов, каждый на своем месте, каждый образует часть целого, частью которого он должен был быть. Лучше одна статуя без носа в том месте, где скульптор впервые поместил ее, чем десять статуй с носами, расположенными отдельно от контекста, в любой коллекции Афин, Рима или Лондона. Конечно, никакой вины копателей в Олимпии нет. Найденных ими предметов не было на своих местах, и

их нельзя было хранить на своих местах. Они могут храниться только в музее; и, по нашему мнению, этот музей не только не должен находиться в Берлине или Лондоне — зло, которому греческий закон запрещает всякую опасность, — но он должен находиться в Олимпии, а не в Афинах. Маленькая коллекция в Элевсине находится на своем месте; она находится в Элевсине; так что она должна быть с большей коллекцией в Олимпии. Но ощущение того, что музей, со всем, чему он учит, сам по себе скучен, что его уроки — болезненные уроки, несколько смягчает разочарование путешественника, обнаруживающего, что все реликвии заперты, а ключ находится где-то в Германии. Ибо сами здания никуда не уносятся; их можно изучать беспрепятственно и, возможно, с еще более глубоким чувством благодарности к тем, чьи неустанный рвение и энергия позволили их открыть. И равнина Альтис, ручей Алфей, холм Кроноса, более могущественные аркадские горы в любом случае находятся там. И они, с бессмертными воспоминаниями об этом месте, являются настоящей Олимпией.

От порта Катаколон до города Пиргос есть дорога, и эта дорога ведет дальше, к самой Олимпии. Таким образом, до этого почтенного места можно добраться в экипаже. Однако может возникнуть вопрос, не является ли путешествие в экипаже по такой дороге, как дорога между Пиргосом и Олимпией, — путешествие, к тому же иногда изменяемое местами, где лучше идти пешком, — по крайней мере, не таким утомительным, как поездка из Микены в Коринф. Но по мере того, как путешественник продвигается от Пиргоса к Олимпии, особенно по мере приближения к непосредственному объекту своего паломничества, он едва ли может не провести сравнение между наготой Аттики и землей, через которую он проезжает, богатой деревьями и возделанными культурами, унылые горы сменяются более низкими холмами, которые часто покрыты зеленью, с деревнями, густо разбросанными среди них, пейзажи во многих местах ближе к более гористым частям Англии, чем могло бы показаться возможным в Греции. Только время от времени, когда взгляд ловит некоторые из более отдаленных точек пейзажа, особенно когда в поле зрения появляются бескрайние высоты Аркадии, ему приходит в голову, что он путешествует именно через Элладу. Наконец, однако, он достигает места, которое было религиозным центром Эллады, и там аркадские высоты, возвышающиеся над более низкими холмами, окружающими саму Олимпийскую равнину, полностью напоминают ему, где он находится. Это место, где больше, чем в каком-либо другом, каждому греку напоминали, что, как бы война и политика ни разделяли их, он все равно разделял со всеми другими греками языковое наследие, религию и общую культуру, в которых варвар не имел доли, где грек с испанского Закинтоса и грек с Херсонеса Таврического могли чувствовать себя если не соотечественниками, то, по крайней мере, братьями перед храмом общего Отца Богов и людей. Здесь были одержаны победы, которые были записаны в одах Пиндара; здесь, как нам хотелось бы верить, Геродот излагал свою историю собравшейся Греции; здесь македонский царь должен был доказать свое происхождение из аргейского рода, прежде чем его могли признать достойным соперником эллинских свободных людей; здесь Алкивиад продемонстрировал то расточительное великолепие, которое, по крайней мере, доказывало, что ресурсы Афин не иссякли. И по мере того, как мы читаем надпись за надписью, записывающие имя Элиды и ее граждан, наши мысли возвращаются к никогда не забываемым заявлениям истинных людей этой земли. Мы помним, как Пиза — название может показаться почти странным в связи с ее более древним местонахождением — считала себя законной хозяйкой олимпийского праздника по более древнему праву, чем могло принадлежать пришельцам из Италии. И мы также думаем о том дне в более поздние времена, когда оружие Фив на одно мимолетное мгновение вернуло им их древнее право. Все это может давить на

разум, когда мы смотрим на равнину у Алфея и наполняем ее в воображении конкурентами, зрителями, поклонниками, самим царством и местом встреч рассеянной эллинской нации. Все это мы могли бы вспомнить, даже если бы не было настоящего памятника тех дней, который напоминал бы нам о них. И все же стоит подумать обо всем этом рядом с непокрытыми фундаментами великого панэллинского храма; и еще важнее проследить все, что предлагает Олимпия, в присутствии остатков, которые рассказывают нам о временах, когда панэллинский храм и проводившийся при нем фестиваль прекратились.

Фундаменты четырех основных зданий были обнаружены в результате немецких раскопок. Два из них относятся ко временам языческого богослужения и эллинской свободы. Есть меньший, более древний храм, храм Гере, раскинувшийся в капителях своих массивных дорических колонн — капители, да будет вам известно, сейчас лежат, дрожа, у их подножий, — возвращая нас к торжественному и солидному стилю Посейдонии и Коринфа. Рядом с этим почтенным фрагментом мы находим надписи римского времени, свидетельствующие о единстве истории и показывающие, что Олимпия все еще оставалась святой после того, как поработенная Греция увела в плен своих завоевателей. Совсем рядом стоит величайший центральный памятник из всех, сам храм Зевса, не колонна из его обширных рядов, стоящая идеально, но с капителями, достаточно часто менее древней формы, чем у меньшего храма, чтобы показать дату, стиль и характер здания, в котором хранилось величайшее произведение Фидия. Но это не только дни Фидия, дни свободной Греции, дни афинского, спартанского и фиванского соперничества, которые представлены в их останках на этом памятном участке. Еще предстоит представить два периода истории Греции и всего мира. Вот этот обширный полукруг римской кирпичной кладки, выглядящий как апсида огромной базилики, но который на самом деле является экседрой Херодеса Аттика; ибо щедрый человек Маратона распространил свою щедрость на святилище общих богов Эллады, а также на храмы, театры и все общественные сооружения своего собственного города. Но цикл еще не завершен; предстоит представить еще одну эпоху, еще один этап истории человечества, который внесет свой вклад в архитектурные остатки Олимпии. И этот возраст, эта фаза предъявляет к нам, по крайней мере, с одной точки зрения, самые высокие требования из всех. Мы рискуем прослыть неисправимыми варварами, когда говорим, что, в конце концов, здание, представляющее наибольший интерес, остатки которого сейчас можно увидеть в Олимпии, — это замечательная базиликанская церковь, расположенная на месте храма Гипподамии. Осталось достаточно, чтобы мы могли разобрать почти все его устройство. Это свидетельствует об очень узком взгляде на вещи, о странном заточении мысли в пределах нескольких произвольно выбранных столетий, когда мы видим немало тех, кто благоговеет перед каждым камнем большого и малого храма, даже, может быть, перед каждым кирпичом *экседры* Херодеса, но кто, кажется, задирает нос при виде памятника, по меньшей мере столь же исторического, как любой из них. Без сомнения, особый интерес к этому конкретному зданию во многом обусловлен местом, где оно находится. Именно потому, что он находится в Альтисе Олимпии, потому что он построен на месте одного из древних храмов Олимпии, потому что материалы для него были предоставлены этим и другими из этих храмов, церковь, которая сейчас стоит в виде руин рядом с ними, обладает большей частью своего особого очарования. Если смотреть с самого низа, то это памятник величайшей революции за всю историю, революции, которая установила поклонение Христу и Панагии на месте святилищ Зевса, Геры и Гипподамии. Классический пурист не может избавиться ни от общей истории человечества, ни от более расширенного взгляда на историю искусства, просто закрыв глаза на то и другое. Базилика есть; это факт; это также факт, что у тех, кто поместил ее там, был особый

мотив для ее размещения — желание особо отметить триумф новой веры, установив ее алтари на месте павших алтарей язычества. И это также факт, что, как бы простой классический педантизм ни презирал стиль, в котором была возведена эта базилика, именно простой педантизм будет презирать ее. Стиль, конструктивно совершенный сам по себе, содержал в себе зародыш всего, что должно было последовать. Мы не можем добраться до Кельна и Вестминстера, за исключением необходимых этапов в Спалато и Олимпии.

Мы можем на мгновение посочувствовать педантам, когда читаем надпись Иовиана на Корфу. Иовиан разрушил, и он очень мало заменил того, что разрушил. Мы ценим его работу и его хвастовство как часть истории; но мы должны признать, что у искусства как такового нет причин благодарить его. Но с базиликой Олимпии дело обстоит совершенно иначе. Его архитектор может занять свое место рядом с теми, кто выполнял приказы Диоклетиана и Теодориха. Он действительно разрушал, но он разрушал только для того, чтобы найти новое применение. Святилище новой веры было воздвигнуто из самих камней святилища старой. Колонны, которые при прежнем положении вещей умели только нести мертвый вес антаблемента, теперь были научены поднимать арку, как живое существо, поднимающееся из их собственной субстанции. От базилики Олимпии осталось достаточно, чтобы показать, что она могла бы выделиться даже среди базилик Равенны. Но в Олимпии название Равенны, кажется, не вызывает отклика, не несет в себе никакого значения. По всем сведениям, которые мы видели, здание считается византийским. Возможно, это просто означает, что она христианская, а не языческая. Византийской, в любом архитектурном смысле, церковь точно не является. По сути, она базиликанская, без каких-либо византийских черт. Эта дата также не может быть достаточно поздней, чтобы ее можно было назвать византийской в каком-либо политическом смысле. Мы можем говорить о Византии после окончательного разделения империй в 800 году; до этого времени это слово приводило к путанице. Невозможно представить себе, чтобы эта церковь была позже времен Юстиниана; вполне возможно, что это было раньше. Когда такое здание могло быть настолько разрушено и поглощено? Мы не можем представить себе более вероятного времени, чем славянские и аварские набеги времен самого Юстиниана и его ближайших преемников.

Сама церковь представляет собой не очень большую базилику самого чистого и простого типа. Здесь нет ни купола, ни какого-либо приближения к византийскому устройству, даже *халкидики* или трансепта. Две аркады, поддерживаемые меньшими колоннами бывшего здания, с ионическими капителями двух типов, вели к апсиде, из которой, к несчастью, исчезла триумфальная арка. Но от хорошо сделанного *канчелли*, переносящего душу через море к церкви Святого Климента, большая часть сохранилась до сих пор. Окна апсиды разделены тем, что на первый взгляд кажется спаренными колоннами — тип, который варьируется от церкви Святой Констанции до монастыря Муассак, — но на самом деле они образуют единый блок внутри и снаружи. Стены кирпичные; сохранилось несколько окон, и в их косяках мы видим длинные камни, установленные вертикально, точно так же, как в примитивных сооружениях Англии и Ирландии. Повсюду мы находим эти свидетельства универсальности самой ранней формы христианской архитектуры. На мостовой много камней с надписями различных дат. Некоторые из них языческие, фиксирующие голоса жителей города Элида во времена первых императоров; некоторые христианские, например, то, что отражает усердие некоего благочестивого читателя *ναυνοστής* по отношению к устройству самого тротуара. К западу от нефа находится ряд ионических колонн, образующих портик, но их арки или антаблемент сохранились. Но к юго-западу примыкает здание, в котором сохранились только арки. Они

установлены на ионических колоннах с промежуточными сваями, расположенными крест-накрест самым оригинальным образом. Колонна превращается в шахту со средней стенкой.

Такое здание, на таком месте, найденное в таком случае, наводит на мысли, которые объединяют все эпохи мира. Былая слава Олимпии прошла; свободная Элида — что бы мы ни говорили о свободной Пизе — больше не собирала соперников свободной Эллады от Массалии до Трапезунда, чтобы сразиться в национальной торжественности перед национальными богами Эллады. Но Олимпия жила до тех пор, пока римские хозяева Эллады служили богам Рима и видели богов Рима в богах Эллады. Настал день, когда владыка Рима отказался от своей веры как в Зевса Олимпийского, так и в Юпитера Капитолийского; последовал день, когда более поздний правитель запретил поклонение обоим, когда олимпийские игры прекратились как обряд запрещенного поклонения, когда ее храмы были заброшены, или разрушены, или превращены в материалы для новых храмов нового вероучения. Вскоре варварские нашествия смели с лица земли как новый храм, так и старый. Зевсу все еще поклонялись на Тайнаросе; святой Андрей все еще помогал своим приверженцам в Патрах; но храмы, языческие и христианские, олимпийской Альтиды были скрыты и забыты, а холм Кроноса смотрел сверху вниз на уединение, а не на великий религиозный центр эллинской расы. Столетия спустя усердие чужеземцев, работающих на эллинской земле, выявляет руины языческих храмов, а вместе с ними и руины христианской церкви. Мы радуемся обоим открытиям; только давайте помнить, что каждое из них в равной степени является частью истории Эллады и истории человечества. Мы, по крайней мере, поверим, что нет никаких опасений, что восстановленную церковь Олимпии может постигнуть та же участь, которую узость классического варварства уготовила афинской герцогской башне.

Примечание переписчика

Был исправлен ряд очевидных типографских ошибок, которые перечислены ниже.

Учитывая, что греческая фраза на стр. 15, “προσείποιμ’ αὐτῶνας”, это, скорее всего, версия линия 1222 от Софокла “Аякс”, “προσείποιμεν Ἀθήνας”.

Следующий список содержит исправления, которые были внесены в текст с учетом вероятности типографских ошибок.

стр. 11	вернул “людей”,	Добавил.
стр. 18	так что вины	нет.
стр. 21	Греческие политические идеи	исправлены.
стр. 41	как заглавные буквы Лисикрата [.]	Добавлены.
стр. 149	[D / C] um terra celat.	Исправлено.
стр. 157	возможно, более поздний [g] n,	исправленный.
стр. 169	нас не ведут к каким-либо особым высотам,	удаленным.
стр. 216	Но им было	добавлено достаточно житейской [l] мудрости.

На стр. Эг[ае/]в мореВ
275

Исправлено
Море.....